



Христос и Антихрист

Дмитрий Мережковский

**Воскресшие боги, или
Леонардо да Винчи**

«Public Domain»

1901

Мережковский Д. С.

Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи /
Д. С. Мережковский — «Public Domain», 1901 — (Христос и
Антихрист)

Роман Д. С. Мережковского (1865—1941) «Воскресшие боги Леонардо да-Винчи» входит в трилогию «Христос и Антихрист», пользовавшуюся широкой известностью в конце XIX – начале XX века. Будучи оригинально связан сквозной мыслью автора о движении истории как борьбы религии духа и религии плоти с романами «Смерть богов. Юлиан отступник» (1895) и «Антихрист, Петр и Алексей» (1904), роман этот сохраняет смысловую самостоятельность и законченность сюжета, являясь ярким историческим повествованием о жизни и деятельности великого итальянского гуманиста эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452—1519). Леонардо да Винчи – один из самых загадочных гениев эпохи Возрождения. Создатель бесспорных шедевров, вдохновенный художник, он внезапно охладевал к искусству, оставляя свои картины незаконченными. Его рисунки с одинаковым совершенством изображают как красоту человека и мира, так и уродливые, жестокие сцены бытия. Ему принадлежит множество самых разнообразных изобретений, далеко опередивших его время и сохраняющих свое значение и в наши дни. Загадочна личная жизнь этого человека, зашифровавшего свои чувства так же, как он шифровал свои труды, записывая их «зеркальным письмом». У него были преданные ученики, непримиримые соперники, среди которых Рафаэль и Микеланджело. Он разговаривал с простолюдинами и с всемогущими государями. Все они прошли перед внимательным и холодным взглядом Леонардо. Его время осталось в его трудах, сам же он по-прежнему будоражит наше воображение не только тем, что оставил, но и тем, что унес с собой...

© Мережковский Д. С., 1901

© Public Domain, 1901

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Первая книга | 7 |
| Вторая книга | 27 |
| Третья книга | 40 |
| Четвертая книга | 56 |
| Пятая книга | 69 |
| Шестая книга | 84 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 97 |

Воскресшие боги Леонардо да-Винчи

Дмитрий Сергеевич Мережковский
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
(Христос и Антихрист – 2)



Первая книга Белая дьяволица

Во Флоренции, рядом с каноникой Орсанмикеле, находились товарные склады цеха красильщиков.

Неуклюжие пристройки, клетки, неровные выступы на косых деревянных подпорах лепились к домам, сходясь вверху черепичными кровлями так близко, что от неба оставалась лишь узкая щель, и на улице, даже днем, было темно. У входа в лавки висели на перекладинах образчики тканей заграничной шерсти, крашенной во Флоренции. В канаве посередине улицы, мощенной плоскими камнями, струились разноцветные жидкости, выливаемые из красильных чанов. Над дверями главных складов – фондаков виднелись щиты с гербом Калималы, цеха красильщиков: в алом поле золотой орел на круглом тюке белой шерсти.

В одном из фондаков сидел, окруженный торговыми записями и толстыми счетными книгами, богатый флорентийский купец, консул благородного искусства Калималы – мессер Чиприано Буонаккорзи.

В холодном свете мартовского дня, в дыхании сырости, веявшей из подвалов, загроможденных товарами, старик зяб и кутался в облезлую беличью шубу с истертыми локтями. Гусиное перо торчало у него за ухом, и слабыми, близорукими, но всевидящими глазами он просматривал, как будто небрежно, на самом деле внимательно, пергаментные листки громадной счетной книги, страницы, разделенные продольными и поперечными графами; справа «дать», слева – «иметь». Записи товаров сделаны были ровным круглым почерком, без прописных букв, без точек и запятых, с цифрами римскими, отнюдь не арабскими, считавшимися легкомысленным новшеством, непристойным для деловых книг. На первой странице было написано большими буквами: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа и Приснодевы Марии счетная книга сия начинается лета от Рождества Христова тысяча четыреста девяносто четвертого».

Окончив просмотр последних записей и тщательно исправив ошибку в числе принятых под залог шерстяного товара латгов продолговатого стручкового перцу, меккского имбирю и вязок корицы, мессер Чиприано с усталым видом откинулся на спинку стула, закрыл глаза и начал обдумывать деловое письмо, которое предстояло ему послать главному приказчику на суконную ярмарку во Франции, в Монпелье.

Кто-то вошел в лавку. Старик открыл глаза и увидел своего мызника, поселянина Грилло, который снимал у него пахотную землю и виноградники на подгорной вилле Сан-Джервазио, в долине Муньоне.

Грилло кланялся, держа в руках корзину с яйцами, старательно переложенными соломою. У пояса его болтались два живых молоденьких петушка на связанных лапках, хохолками вниз.

– А, Грилло! – молвил Буонаккорзи со свойственной ему любезностью, одинаковой в обращении с малыми и великими. – Как Господь милует? Кажется, нынче весна дружная?

– Нам, старикам, мессере Чиприано, и весна не в радость: кости ноют – в могилу просятся.

– Вот к Светлому празднику, – прибавил он, помолчав, – яичек да петушков вашей милости принес.

Грилло с хитрой ласковостью шурил свои зеленоватые глазки, собирая вокруг них мелкие загорелые морщины, какие бывают у людей, привыкших к солнцу и ветру.

Буонаккорзи, поблагодарив старика, начал расспрашивать о делах.

– Ну, что, готовы ли работники на мызе? Успеем ли кончить до свету?

Грилло тяжело вздохнул и задумался, опираясь на палку, которую держал в руках.

– Все готово, и работников довольно. Только вот что я вам доложу, мессере: не лучше ли подождать?

– Ты же сам, старик, наемни говорил, что ждать нельзя, – может кто-нибудь раньше догадаться.

– Так-то оно так, а все-таки страшно. Грех! Дни нынче святые, постные, а дело наше неладное...

– Ну, грех я на свою душу беру. Не бойся, я тебя не выдам. – Только найдем ли что-нибудь?

– Как не найти! На то приметы есть. Отцы и деды знали о холме за мельницей у Мокрой Лощины. По ночам на Сан-Джиованни огоньки бегают. И то сказать: у нас этой дряни всюду много. Вот, говорят, недавно, как рыли колодец в винограднике у Мариньолы, целого черта вытащили из глины... – Что ты говоришь? Какого черта?

– Медного, с рогами. Ноги шершавые, козлиные, – на концах копыта. А рыльце забавное, – точно смеется; на одной ноге пляшет, пальцами прищелкивает. От старости весь позеленел, замшился. – Что же с ним сделали?

– Колокол отлили для новой часовни Архангела Михаила.

Мессер Чиприано едва не рассердился; – Зачем же ты об этом раньше не сказал мне, Грилло?

– Вы в Сиену по делам уезжали.

– Ну, написал бы. Я бы прислал кого-нибудь. Сам приехал бы, никаких денег не пожалел бы, десять колоколов отлил бы им. Дураки! Колокол – из пляшущего Фавна, – быть может, древнего эллинского ваятеля Скопаса...

– Да, уж подлинно – дураки. Только не извольте гневаться, мессер Чиприано. Они и так наказаны: с тех пор, как новый колокол повесили, два года червь в садах яблоки и вишни ест, да на оливы неурожай. И голос у колокола нехороший. – Почему же нехороший?

– Как вам сказать? Настоящего звука нет. Сердца христианского не радуется. Так что-то болтает без толку. Дело известное: какой же из черта колокол! Не во гнев будь сказано вашей милости, мессере, священник-то, пожалуй, прав: из всей этой нечисти, что выкапывают, ничего доброго не выходит. Тут надо вести дело с осторожностью, с оглядкой. Крестом и молитвою ограждаться, ибо силен дьявол и хитер, собачий сын, – в одно ухо влезет, в другое вылезет! Вот хотя бы с этой мраморной рукой, что в прошлом году Дзакелло у Мельничного Холма вырыл, – попутал нас нечистый, нажили мы с ней беды, не дай Бог, – и вспомнить страшно. – Расскажи-ка, Грилло, как ты нашел ее? – Дело было осенью, накануне св. Мартина. Сели мы ужинать, и только что хозяйка поставила на стол тюрю из хлеба, – вбегает в горницу работник, кумов племянник, его оставил, у Мельничного Холма, оливковую корчагу выворачивать, – коноплею то место хотел засеять. «Хозяин, а, хозяин!» – лопочет Дзакелло, и лица на нем нет: весь трясется, зуб на зуб не попадает. «Господь с тобой, малый!» – «Недоброе, – говорит, – в поле творится: покойник из-под корчаги вылезает. Если не верите, пойдите, сами посмотрите». Взяли мы фонари и пошли.

Стемнело. Месяц встал из-за рощи. Видим – корчага; рядом земля разрыта, и что-то в ней белеет. Наклонился, смотрю – рука из земли торчит, белая и пальцы красивые, тонкие, как у девушек городских. «Ах, пострел тебя возьми, – думаю, – это что за чертовщина?» Опустил фонарь в яму, чтобы лучше рассмотреть, а рука-то зашевелилась, пальчиками манит. Тут уж я не стерпел, закричал, ноги подкосились. А мона Бонда, бабушка, – она у нас знахарка и повитуха, бодрая, хоть и древняя старушка: «Чего вы все испугались, дураки, – говорит, – разве не видите-рука не живая и не мертвая, а каменная». Ухватилась, дернула и вытащила из земли, как репу. Повыше кисти в суставе рука была сломана. «Бабушка, – кричу, – ой, бабушка, оставь, не тронь, зароем поскорее в землю, а то как бы беды не нажить». – «Нет, – говорит, – так не ладно, а надо сначала в церковь священнику отнести, пусть он заклятие прочтет». Обманула

меня старуха: священнику руки не отнесла, а в свой ларь в углу спрятала, где у нее всякая рухлядь – тряпочки, мази, травы и ладанки. Я бранился, чтобы руку отдала, но мона Бонда заупрямилась. И стала с тех пор бабушка чудесные творить исцеления. Заболят ли у кого зубы – идольской рукой прикоснется к щеке, и опухоль опадет. От лихорадки, от живота, от падучей помогала. Ежели корова мучится, не может отелиться, бабушка ей на брюхо каменную руку положит, корова замычит, и смотришь – теленок уже в соломе копошится.

Молва по окрестным селениям пошла. Много денег в то время набрала старуха. Только проку не вышло. Священник, отец Фаустино, не давал мне спуска: в церковь пойду – он меня на проповеди при всех укоряет. Сыном погибели называл, слугою дьявола, епископу грозил пожаловаться, Св. Причастия лишит. Мальчишки за мною по улице бегали, пальцами указывали: «Вот идет Грилло, сам Грилло колдун, а бабушка у него ведьма, оба душу черту продали». Верите ли, даже по ночам не было покоя: все мраморная рука мерещится, будто бы подбирается, тихонько за шею берет, точно ласкает, пальцы холодные, длинные, а потом как вдруг схватит, стиснет горло, начнет душить, – хочу крикнуть и не могу.

Э, думаю, шутки-то плохи. Встал я раз до свету, и как бабушка на лугу по росе пошла травы собирать, выломал замок у ларя, взял руку и вам отнес. Хотя старьевщик Лотто десять сольдов давал, а от вас получил я только восемь, ну, да для вашей милости мы не то что двух сольды, а живота своего не пожалеем, – пошли вам Господь всякого благовремения, и мадонне Анжелике, и деткам, и внукам вашим.

– Да, судя по всему, что ты рассказываешь, Грилло, мы что-нибудь найдем в Мельничном Холме, – произнес мессер Чиприано в раздумьи.

– Найти-то найдем, – продолжал старик, опять тяжело вздохнув, – только вот как бы отец Фаустино не пронюхал. Ежели узнает – расчешет он мне голову без гребня так, что не поздоровится, да и вам помешает: народ взбунтует, работы кончить не даст. Ну, да Бог милостив. Только уж и вы меня не оставьте, благодетель, замолвите словечко у судьи.

– Это насчет того куска земли, который у тебя мельник хочет оттягать?

– Точно так, мессере. Мельник – жила и пройдоха. Знает, где у черта хвост. Я, видите ли, телку судье подарил, и он ему – телку, да стельную. Во время тяжбы она возьми и отелись. Перехитрил меня, плут. Вот я и боюсь, как бы судья не решил в его пользу, потому что телка-то бычком отелилась на грех. Уж заступитесь, отец родной! Я ведь это только для вашей милости – Мельничным Холмом стараюсь, – ни для кого такого греха на душу не взял бы...

– Будь покоен, Грилло. Судья – мой приятель, и я за тебя похлопочу. А теперь ступай. На кухню тебя накормят и вином угостят. Сегодня ночью мы вместе едем в Сан-Джервазио.

Старик, низко кланяясь, поблагодарил и ушел, а мессер Чиприано удалился в свою маленькую рабочую комнату, рядом с лавкой, куда никто не имел позволения входить.

Здесь, как в музее, расставлены и развешаны были по стенам мраморы и бронзы. Древние монеты и медали красовались на досках, обшитых сукном. Обломки статуй, еще не разобранные, лежали в ящиках. Через свои многочисленные торговые конторы выписывал он древности отовсюду, где можно было их найти: из Афин, Смирны и Галикарнасса, с Кипра, Левкозии и Родоса, из глубины Египта и Малой Азии.

Оглянув сокровища свои, консул Калималы снова погрузился в строгие, важные мысли о таможенном налоге на шерсть и, все окончательно обдумав, стал сочинять письмо доверенному в Монпелье.

В это время, в глубине склада, где тюки товара, наваленные до потолка, и днем освещались только лампадою, мерцавшею перед Мадонной, беседовали трое молодых людей: Доффо, Антонио и Джованни. Доффо, приказчик мессера Буонаккорзи, с рыжими волосами, курносый и добродушно-веселый, записывал в книгу число локтей смиренного сукна. Антонио да Винчи, старообразный юноша, со стеклянными рыбьими глазами, с упрямо торчавшими космами жидких черных волос, проворно мерил ткань флорентийскою мерою – канною. Джованни

Бельтраффио, ученик живописи, приехавший из Милана, юноша лет девятнадцати, робкий и застенчивый, с большими, невинными и печальными, серыми глазами, с нерешительным выражением лица, сидел на готовом тюке, закинув ногу на ногу и внимательно слушал.

– Вот до чего, братцы, дожили, – говорил Антонио тихо и злобно: – языческих богов из земли стали выкапывать!

– Шотландской шерсти с ворсом, коричневого – тридцать два локтя, шесть пяденей, восемь ончий, – прибавил он, обращаясь к Доффо, и тот записал в товарную книгу. Потом, свернув смиренный кусок, Антонио бросил его сердито, но ловко, так что он попал как раз туда, куда нужно, и, подняв указательный палец с пророческим видом, подражая брату Джироламо Савонароле, воскликнул: – *Gladius Dei super terrain cito et velociter!*¹ Св. Иоанну на Патмосе было видение: ангел взял дракона, змия древнего, который есть дьявол, и сковал его на тысячу лет, и низверг в бездну, и заключил, и положил над ним печать, дабы не прельщал народы, доколе не кончится тысяча лет, время и полвремени. Ныне сатана освобождается из темницы. Окончилась тысяча лет. Ложные боги, предтечи и слуги Антихриста, выходят из земли, из-под печати ангела, дабы обольщать народы. Горе живущим на земле и на море!.. – Желтого, брабантской шерсти, гладкого – семнадцать локтей, четыре пядени, девять ончий. – Как же вы разумеете, Антонио, – произнес Джованни с боязливым и жадным любопытством, – все эти знамения свидетельствуют?..

– Да, да. Не иначе. Бодрствуйте! Время близко. И теперь уже не только древних богов выкапывают, но и новых творят наподобие древних. Нынешние ваятели и живописцы служат Молоху, то есть дьяволу. Из церкви Господней делают храм сатаны. На иконах, под видом мучеников и святых, нечистых богов изображают, коим поклоняются: вместо Иоанна Предтечи – Вакха, вместо Матери Божьей – блудницу Венеру. Сжечь бы такие картины и по ветру пепел развеять!

В тусклых глазах благочестивого приказчика вспыхнул зловецкий огонь.

Джованни молчал, не смея возражать, с беспомощным усилием мысли сжимая свои тонкие детские брови. – Антонио, – молвил он, наконец, – слышал я, будто бы ваш двоюродный брат, мессер Леонардо да Винчи, принимает иногда учеников в свою мастерскую. Я давно хотел...

– Если хочешь, – перебил его Антонио, нахмурившись, – если хочешь, Джованни, погубить душу свою ступай к мессеру Леонардо.

– Как? Почему?

– Хотя он и брат мне, и старше меня на двадцать лет, но в Писании сказано: еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся. Мессер Леонардо – еретик и безбожник. Ум его омрачен сатанинской гордостью. Посредством математики и черной магии мыслит он проникнуть в тайны природы...

И, подняв глаза к небу, привел он слова Савонаролы из последней проповеди:

– «Мудрость века сего – безумие пред Господом. Знаем мы этих ученых: все грядут в жилище сатаны!»

– А слышали вы, Антонио, – продолжал Джованни еще более робко, – мессер Леонардо теперь здесь, во Флоренции? Только что приехал из Милана.

– Зачем?

– Герцог прислал, чтобы разведать, нельзя ли купить некоторые из картин, принадлежавших покойному Лоренцо Великолепному.

– Здесь, так здесь. Мне все равно, – перебил Антонио, еще усерднее принимаясь отмеривать на канне сукно. В церквах зазвонили к повечерию. Доффо радостно потянулся и захлопнул книгу. Работа была кончена. Лавки запирались Джованни вышел на улицу. Между мок-

¹ Меч Господень на земле действует быстро и скоро! (лат.)

рыми крышами было серое небо с едва уловимым розовым оттенком репера. В безветренном воздухе сеял мелкий дождь.

Вдруг из открытого окна в соседнем переулке послышалась песня: *O, vaghe montanine e pastorelle*.²

Голос был молодой и звонкий. Джованни догадался, по равномерному звуку подножки, что поет ткачиха за станком. вспомнил, что теперь весна, и почувствовал как сердце бьется от беспричинного умиления и грусти. – Нанна! Нанна! Да где же ты, чертова девка? Оглохла что ли? Ужинать ступай! Лапша простынет.

Деревянные башмаки – цокколи – бойко застучали по кирпичному полу – и все умолкло.

Джованни стоял еще долго, смотрел на пустое окно, в ушах его звучал весенний напев, подобный переливам далекой свирели – *O, vaghe montanine e pastorelle*. Потом тихо вздохнул, вошел в дом консула Калималы по крутой лестнице с гнилыми, шаткими перилами, изъеденными червоточиной, поднялся в большую комнату, служившую библиотекой, где сидел, согнувшись за письменным поставцом, Джордже Мерула, придворный летописец миланского герцога.

Мерула приехал во Флоренцию, по поручению государя для покупки редких сочинений из книгохранилища Лоренцо Медичи и, как всегда, остановился в доме друга своего такого же, как он, любителя древностей, мессера Чиприано Буонаккорзи. С Джованни Бельтраффио ученый историк познакомился случайно на постоялом дворе, по пути из Милана, и, под тем предлогом, что ему, Меруле нужен хороший писец, а у Джованни почерк красивый и четкий, взял его с собой в дом Чиприано.

Когда Джованни входил в комнату, Мерула тщательно рассматривал истрепанную книгу, похожую на церковный требник или псалтырь. Осторожно проводил влажной губкою по тонкому пергаменту, самому нежному, из кожи мертворожденного ирландского ягненка, – некоторые строки стирал пемзой, выглаживал лезвием ножа и лоцилом, потом опять рассматривал, подымая к свету.

– Миленькие! – бормотал он себе под нос, захлебываясь от умиления. – Ну-ка, выходите, бедные, выходите на свет Божий... Да какие же вы длинные, красивые!

Он прищелкнул двумя пальцами и поднял от работы плешивую голову, с одутловатым лицом, с мягкими, подвижными морщинами, с багрово-сизым носом, с маленькими свинцовыми глазками, полными жизни и неутомимой веселости. Рядом, на подоконнике, стоял глиняный кувшин и кружка. Ученый налил себе вина, выпил, крякнул и хотел опять погрузиться в работу, когда увидел Джованни.

– Здравствуй, монашек! – приветствовал его старик шутливо: монашком называл он Джованни за скромность. – Я по тебе соскучился. Думаю, где пропадает? Уж не влюбился ли, чего доброго? Девочки-то во Флоренции славные. Влюбиться не грех. А я тоже времени даром не теряю. Ты этакой забавной штуки от роду, пожалуй, не видывал. Хочешь покажу? Или нет-еще разболтаешь. Я ведь у жида, старьевщика, за грош купил, – среди хлама нашел. Ну, да уж куда ни шло, тебе одному покажу! Он поманил его пальцем: – Сюда, сюда, поближе к свету!

И указал на страницу, покрытую тесными, остроугольными буквами церковного письма. Это были акафисты, молитвы, псалмы с громадными, неуклюжими нотами для пения.

Потом взял у него книгу, открыл на другом месте, поднял к свету, почти в уровень с его глазами, – и Джованни заметил, как там, где Мерула соскоблил церковные буквы, появились иные, почти неуловимые строки, бесцветные отпечатки древнего письма, углубления в пергаменте – не буквы, а только призраки давно исчезнувших букв, бледные и нежные.

– Что? Видишь, видишь? – повторял Мерула с торжеством. – Вот они, голубчики. Говорил я тебе, монашек, веселая штучка!

² О, девы гор, о, милые пастушки.

– Что это? Откуда? – спросил Джованни. – Сам еще не знаю. Кажется, отрывки из древней антологии. Может быть, и новые, неведомые миру сокровища эллинской музыки. А ведь если бы не я, так бы и не увидеть им света Божьего! Прележали бы до скончания веков под антифонами и покаянными псалмами... И Мерула объяснил ему, что какой-нибудь средневековый монах-переписчик, желая воспользоваться драгоценным пергаментом, соскоблил древние языческие строки и написал по ним новые.

Солнце, не разрывая дождливой пелены, а только просвечивая, наполнило комнату угасающим розовым отблеском, и в нем углубленные отпечатки, тени древних букв, выступили еще яснее.

– Видишь, видишь, покойники выходят из могил! – повторял Мерула с восторгом. – Кажется, гимн олимпийцам. Вот, смотри, можно прочесть первые строки. И он перевел ему с греческого:

Слава любезному, пышно-венчанному гроздьями Вакху,
Слава тебе, дальномечущий Феб, сребролукий,
Ужасный Бог лепокудрый, убийца сынов Ниобеи.

– А вот и гимн Венере, которой ты так боишься, монашек! Только трудно разобрать...

Слава тебе, златоногая мать Афродита, Радость богов и людей...

Стих обрывался, исчезая под церковным письмом. Джованни опустил книгу, и отпечатки букв побледнели, углубления стерлись, утонули в гладкой желтизне пергамента, – тени скрылись. Видны были только ясные, жирные, черные буквы монастырского требника и громадные, крючковатые, неуклюжие ноты покаянного псалма:

«Услышь, Боже, молитву мою, внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь: сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня».

Розовый отблеск потух, и в комнате стало темнеть. Мерула налил вина из глиняного кувшина, выпил и предложил собеседнику.

– Ну-ка, братец, за мое здоровье. *Vinum super omnia bonum diligamus!*³ Джованни отказался.

– Ну – Бог с тобой. Так я за тебя выпью. – Да что это ты, монашек, какой сегодня скучный, точно в воду опущенный? Или опять этот святоша Антонио пророчествами напугал? Плюнь ты на них, Джованни, право, плюнь? И чего каркают, ханжи, чтоб им пусто было!

– Признавайся, говорил ты с Антонио?

– Говорил.

– О чем?

– Об Антихристе и мессере Леонардо да Винчи...

– Ну, вот! Да ты только и бредишь Леонардо. Околдовал он тебя, что ли? Слушай, брат, выкинь дурь из головы. Оставайся-ка моим секретарем – я тебя живо в люди выведу: латыни научу, законоведом сделаю, оратором или придворным стихотворцем, – разбогатеешь, славы достигнешь. Ну, что такое живопись? Еще философ Сенека называл ее ремеслом, недостойным свободного человека. Посмотри на художников – все люди невежественные, грубые...

– Я слышал, – возразил Джованни, – что мессер Леонардо – великий ученый.

– Ученый? Как бы не так! Да он и по-латыни читать не умеет, Цицерона с Квинтилиалом смешивает, а греческого и не нюхал. Вот так ученый! Курам на смех.

³ Возлюбим вино превыше всякого блага! (лат.)

– Говорят, – не унимался Бельтраффио, – что он изобретает чудесные машины и что его наблюдения над природою...

– Машины, наблюдения! Ну, брат, с этим далеко не уйдешь. В моих «Красотах латинского языка» собрано более двух тысяч новых изящнейших оборотов речи. Так знаешь ли ты, чего мне это стоило?.. А хитрые колесики в машинках прилаживать, посматривать, как птицы в небе летают, травы в поле растут – это не наука, а забава, игра для детей!..

Старик помолчал; лицо его сделалось строже. Взяв собеседника за руку, он промолвил с тихой важностью:

– Слушай, Джованни, и намотай себе на ус. Учителя наши – древние греки и римляне. Они сделали все, что люди могут сделать на земле. Нам же остается только следовать за ними и подражать. Ибо сказано: ученик не выше своего учителя.

Он отхлебнул вина, заглянул прямо в глаза Джованни с веселым лукавством, и вдруг мягкие морщины его расплылись в широкую улыбку:

– Эх, молодость, молодость! Гляжу я на тебя, монашек, и завидую. Распуколка весенняя – вот ты кто! Вина не пьет, от женщин бегаешь. Тихоня, смиренник. А внутри – бес. Я ведь тебя насквозь вижу. Подожди, голубчик, выйдет наружу бес. Сам ты скучный, а с тобой весело. Ты теперь, Джованни, вот как эта книга. Видишь, – сверху псалмы покаянные, а под ними гимн Афродите!

– Стемнело, мессер Джордже. Не пора ли огонь зажигать?

– Подожди, – ничего. Я в сумерках люблю поболтать, молодость вспомнить...

Язык его тяжелеет, речь становится бессвязной. – Знаю, друг любезный, – продолжал он, – ты вот смотришь на меня и думаешь: напился, старый хрыч, вздор мелет. А ведь у меня здесь тоже кое-что есть!

Он самодовольно указал пальцем на свой плешивый лоб.

– Хвастать не люблю – ну, а спроси первого школяра: он тебе скажет, превзошел ли кто Мерулу в изяществах латинской речи. Кто открыл Мартиала? – продолжал он, все более увлекаясь, – кто прочел знаменитую надпись на развалинах Тибуртинских ворот? Залезешь, бывало, так высоко, что голова кружится, камень сорвется из-под ноги – едва успеешь за куст уцепиться, чтобы самому не слететь. Целые дни мучишься на припеке, разбираешь древние надписи и списываешь. Пройдут хорошенькие поселянки, хохочут: «Посмотрите-ка, девушки, какой сидит перепелвон куда забрался, дурак, должно быть, клада ищет!» Полюбезничаешь с ними, пройдут – и опять за работу. Где камни осыпались, под плющом и терновником – там только два слова: *Gloria Romanorum*.

И, как будто вслушиваясь в звуки давно умолкших, великих слов, повторил он глухо и торжественно:

– *Gloria Romanorum!*⁴ Э, да что вспоминать, – все равно не воротить, – махнул он рукой и, под школяров:

Не обмолвлюсь натошак
Ни единой строчкой.
Я всю жизнь ходил в кабак
И умру за бочкой.
Как вино, я песнь люблю
И латинских граций, —
Если ж пью, то и пою
Лучше, чем Гораций.

⁴ Слава римлян!

В сердце буйный хмель шумит,
Dum vinum potamus⁵ —
Братья, Вакху пропоем:
Te Deum laudamus!⁶

Закашлялся и не кончил.

В комнате уже было темно. Джованни с трудом различал лицо собеседника.

Дождь пошел сильнее, и слышно было, как частые капли из водосточной трубы падают в лужу.

– Так вот как, монашек, – бормотал Мерула заплетающимся языком. – Что, бишь, я говорил? Жена у меня красавица...

Нет, не то. Погоди. Да, да... Помнишь стих:

Tu regere imperio populos, Romae, memento.⁷

Слушай, это были исполинские люди. Повелители вселенной!..

Голос его дрогнул, и Джованни показалось, что на глазах мессера Джордже блеснули слезы.

– Да, исполинские люди! А теперь – стыдно сказать... Хоть бы этот наш герцог миланский, Лодовико Моро. Конечно, я у него на жалованье, историю пишу наподобие Тита Ливия, с Помпеем и Цезарем сравниваю зайца трусливого, выскочку. Но в душе, Джованни, в душе у меня...

По привычке старого придворного он подозрительно оглянулся на дверь, не подслушивает ли кто-нибудь, – и, наклонившись к собеседнику, прошептал ему на ухо:

– В душе старого Мерулы не угасла и никогда не угаснет любовь к свободе. Только ты об этом никому не говори. Времена нынче скверные. Хуже не бывало. И что за людишки-смотреть тошно: плесень, от земли не видать. А ведь тоже нос задирают, с древними равняются! И чем, подумаешь, взяли, чему радуются? Вот, мне один приятель из Греции пишет: недавно на острове Хиосе монастырские прачки по заре, как белье полоскали, на морском берегу настоящего древнего бога нашли, тритона с рыбьим хвостом, с плавниками, в чешуе. Испугались дуры. Подумали – черт, убежали. А потом видят – старый он, слабый, должно быть, больной, лежит ничком на песке, зябнет и спину зеленую чешуйчатую на солнце греет. Голова седая, глаза мутные, как у грудных детей. Расхрабрились, подлые, обступили его с христианскими молитвами, да ну колотить вальками. До смерти избили, как собаку, древнего бога, последнего из могучих богов океана, может быть, внука Посейдонова!..

Старик замолчал, уныло понутив голову, и по щекам его скатились две пьяные слезы от жалости к морскому чуду.

Слуга принес огонь и закрыл ставни. Языческие призраки отлетели.

Позвали ужинать. Но Мерула так отяжелел от вина, что его должны были отвести под руки в постель.

Бельтраффио долго не мог заснуть в ту ночь и, прислушиваясь к безмятежному храпу мессера Джордже, думал о том, что в последнее время его больше всего занимало, – о Леонардо да Винчи.

⁵ Упиваясь вином (лат.)

⁶ Тебя, Бога, хвалим. (лат.)

⁷ Римлянин, помни, что ты управляешь народом (лат.)

Во Флоренцию приехал Джованни из Милана, по поручению дяди своего, Освальда Ингрима, стекольщика, чтобы купить красок, особенно ярких и прозрачных, каких нельзя было достать нигде, кроме Флоренции.

Стекольщик-живописец, родом из Граца, ученик знаменитого страсбургского мастера Иоганна Кирхгейма, Освальд Ингрим, работал над окнами северной ризницы Миланского собора. Джованни, сирота, незаконный сын его брата, каменщика Рейнольда Ингрима, получил имя Бельтраффио от матери своей, уроженки Ломбардии, которая, по словам дяди, была распутной женщиной и вовлекла в погибель отца его.

В доме угрюмого дяди рос он одиноким ребенком. Душу его омрачали бесконечные рассказы Освальда Ингрима о всяких нечистых силах, бесах, ведьмах, колдунах и оборотнях. Особенный ужас внушало мальчику предание, сложенное северными людьми в языческой Италии, о женообразном демоне – так называемой Белобрысой Матери или Белой Дьяволице.

Еще в раннем детстве, когда Джованни плакал ночью в постели, дядя Ингрим пугал его Белой Дьяволицей, и ребенок тотчас утихал, прятал голову под подушку; но сквозь трепет ужаса чувствовал любопытство, желание когда-нибудь увидеть Белобрысую лицом к лицу.

Освальд отдал племянника на выучку монаху-иконописцу, фра Бенедетто.

Это был простодушный и добрый старик. Он учил, приступая к живописи, призывать на помощь всемогущего Бога, возлюбленную заступницу грешных. Деву Марию, св. евангелиста Луку, первого христианского живописца, и всех святых рая; затем украшаться одеянием любви, страха, послушания и терпения; наконец, заправлять темперу для красок на яичном желтке и молочном соку молодых веток смоковницы с водой и вином, готовить дощечки для картин из старого фигового или букового дерева, протирая их порошком из жженой кости, причем предпочтительнее употреблять кости из ребер и крыльев кур и каплунов, или ребер и плеч барана.

Это были неисчерпаемые наставления. Джованни знал заранее, с каким пренебрежительным видом фра Бенедетто подымет брови, когда речь пойдет о краске, именуемой драконовой кровью, и непременно скажет: «Оставь ее и не очень печалься о ней; она не может принести тебе много чести». Он угадывал, что те же слова говорил и учитель фра Бенедетто, и учитель его учителя. Столь же неизменной была улыбка тихой гордости, когда фра Бенедетто поведал ему тайны мастерства, которые казались монаху пределом всех человеческих художеств и хитростей: как, например, для состава промазки при изображении молодых лиц должно брать яйца городских кур, потому что желтки у них светлее, нежели у сельских, которые, вследствие своего красноватого цвета, идут более для изображения старого смуглого тела.

Несмотря на все эти тонкости, фра Бенедетто оставался художником бесхитростным, как младенец. К работе готовился постами и бдениями. Приступая к ней, падал ниц и молился, испрашивая у Господа силы и разума. Каждый раз, как изображал Распятие, лицо его обливалось слезами.

Джованни любил учителя и почитал его величайшим из мастеров. Но в последнее время находило на ученика смущение, когда, объясняя свое единственное правило из анатомии, – что длину мужского тела должно полагать в восемь лиц и две трети лица, – фра Бенедетто прибавлял с тем же пренебрежительным видом, как о драконовой крови, – «что касается до тела женщины, лучше оставить его в стороне, ибо оно не имеет в себе ничего соразмерного». Он был убежден в этом так же непоколебимо, как в том, что у рыб и вообще у всех неразумных животных сверху темный цвет, а снизу светлый; или в том, что у мужчины одним ребром меньше, чем у женщины, так как Бог вынул ребро Адама, чтобы создать Еву.

Однажды понадобилось ему представить четыре стихии посредством аллегорий, обозначив каждую каким-нибудь животным. Фра Бенедетто выбрал крота для земли, рыбу для воды, саламандру для огня и хамелеона для воздуха. Но, полагая, что слово хамелеон есть увеличительное от *camele*, которое значит верблюд, – монах в простоте сердца представил стихию

воздуха в виде верблюда, который открывает пасть, чтобы лучше дышать. Когда же молодые художники стали смеяться над ним, указывая на ошибку, он терпел насмешки с христианской кротостью, оставаясь при убеждении, что между верблюдом и хамелеоном нет разницы.

Таковы были и остальные познания благочестивого мастера о природе.

Давно уже в сердце Джованни проникли сомнения, новый мятежный дух, «бес мирского любомудрия», по выражению монаха. Когда же ученику фра Бенедетто, незадолго до поездки во Флоренцию, случилось увидеть некоторые из рисунков Леонардо да Винчи, эти сомнения нахлынули в душу его с такою силою, что он не мог им противиться.

В ту ночь, лежа рядом с мирно храпевшим мессером Джордже, в тысячный раз перебирал он в уме своем эти мысли, но чем более углублялся в них, тем более запутывался.

Наконец, решил прибегнуть к помощи небесной и, устремляя взор, полный надежды, в темноту ночи, стал молиться так:

– Господи, помоги мне и не оставь меня! Если мессер Леонардо – человек в самом деле безбожный, и в науке его – грех и соблазн, сделай так, чтобы я о нем больше не думал и о рисунках его позабыл. Избавь меня от искушения, ибо я не хочу согрешить перед Тобою. Но, если можно, угождая Тебе и прославляя имя Твое в благодарном искусстве живописи, знать все, чего фра Бенедетто не знает, и что мне так сильно хочется знать, – и анатомию, и перспективу, и прекраснейшие законы света и тени, – тогда, о Господи, дай мне твердую волю, просвети мою душу, чтобы я уже более не сомневался; сделай так, чтобы и мессер Леонардо принял меня в свою мастерскую, и чтобы фра Бенедетто – он такой добрый – простил меня и понял, что я ни в чем перед Тобою не виновен.

После молитвы Джованни почувствовал отраду и успокоился. Мысли его сделались неясными: он вспомнил, как в руках стекольщика раскаленное добела железное острие наждака впивается и, с приятным шипящим звоном, режет стекло; увидел, как из-под струга выходят, извиваясь, гибкие свинцовые полосы, которыми соединяют в рамках отдельные куски раскрашенных стекол. Чей-то голос, похожий на голос дяди, сказал: «зазубрин, побольше зазубрин по краям, тогда стекло крепче держится», – и все исчезло. Он повернулся на другой бок и заснул.

Джованни увидел сон, который впоследствии часто вспоминал: ему казалось, что он стоит в сумраке громадного собора перед окном с разноцветными стеклами. На них изображена была виноградная жатва таинственной лозы, о которой сказано в Евангелии: «Я семь истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь». Нагое тело Распятого лежит в точиле, и кровь льется из ран. Папы, кардиналы, императоры собирают ее, наполняют и катят бочки. Апостолы приносят гроздья; св. Петр топчет их. В глубине пророки, патриархи окапывают лозы или срезают виноград. И с чаном вина проезжает колесница, в которую запряжены евангельские звери – лев, бык, орел; правит же ею ангел св. Матфея. Стекла с подобными изображениями Джованни встречал в мастерской своего дяди. Но нигде не видал таких красок – темных и в то же время ярких, как драгоценные камни. Всего больше наслаждался он алым цветом крови Господней. А из глубины собора долетали слабые, нежные звуки его любимой песни:

O, fior di castitate,
Odorifero giglio,
Con grain soavitate
Sei di color vermiglio!⁸

Песнь умолкла, стекло потемнело – голос приказчика Антонио да Винчи сказал ему на ухо: «беги, Джованни, беги! Она – здесь!» Он хотел спросить «кто?», но понял, что Белобрысая

⁸ Цветок целомудрия, Душистая лилия, О, полная негою, Багровая лилия!

у него за спиною. Повеяло холодом, и вдруг тяжелая рука схватила его за шею сзади и стала душить. Ему казалось, что он умирает.

Он вскрикнул, проснулся и увидел мессера Джордже, который стоял над ним и стаскивал с него одеяло: – Вставай, вставай, а то без нас уедут. Давно пора! – Куда? Что такое? – бормотал Джованни впросонках.

– Разве забыл? На виллу в Сан-Джервазио, раскапывать Мельничный Холм. – Я не поеду...

– Как не поедешь? Даром я тебя будил, что ли? Нарочно велел черного мула оседлать, чтобы удобнее было ехать вдвоем. Да ну же, вставай, сделай милость, не упрямясь! Чего ты боишься, монашек? – Я не боюсь, но мне просто не хочется... – Послушай, Джованни: там будет этот твой хваленый мастер, Леонардо да Винчи.

Джованни вскочил и, не возражая более, стал одеваться. Они вышли на двор.

Все уже было готово к отъезду. Расторопный Грилло давал советы, бегал и суетился. Тронулись в путь. Несколько человек, знакомых мессера Чиприано, в том числе Леонардо да Винчи, должны были приехать позже другой дорогой, прямо в Сан-Джервазио.

Дождь перестал. Северный ветер разогнал тучи. В безлунном небе звезды мигали, как лампадные огни, задуваемые ветром. Смоляные факелы дымились и трещали, разбрасывая искры.

По улице Рикасоли, мимо Сан-Марко, подъехали к зубчатой башне ворот Сан-Галло. Сторожа долго спорили, ругались, не понимая спросонья, в чем дело, и только, благодаря хорошей взятке, согласились выпустить их из города.

Дорога шла узкою, глубокою долиною потока Муньоне. Миновав несколько бедных селений, с такими же тесными улицами, как во Флоренции, с высокими домами, похожими на крепости, сложенными из грубо отесанных камней, путники въехали в оливковую рощу, принадлежавшую поселянам Сан-Джервазио, спешили на перекрестке двух дорог и по винограднику мессера Чиприано подошли к Мельничному Холму.

Здесь ожидали их работники с лопатами и заступами. За холмом, по ту сторону болота, называвшегося Мокрой Лощиной, неясно белели в темноте между деревьями стены виллы Буонаккорзи. Внизу, на Муньоне, была водяная мельница. Стройные кипарисы чернели на вершине холма.

Грилло указал, где, по его мнению, следует копать. Мерула указывал на другое место, у подошвы холма, где нашли мраморную руку. А старший работник, садовник Строкко, утверждал, что следует рыть внизу, у Мокрой Лощины, так как, по его словам: «всегда нечисть ближе к болоту водится».

Мессер Чиприано велел копать там, где советовал Грилло.

Застучали лопаты. Запахло разрытою землею. Летучая мышь едва не задела крылом лицо Джованни. Он вздрогнул.

– Не бойся, монашек, не бойся! – ободряя, похлопал его Мерула по плечу. – Никакого черта не найдем! Если бы еще не этот осел Грилло... Слава Богу, мы не на таких раскопках бывали! Вот, например, в Риме, в четырехста пятидесятую олимпиаду, – Мерула, пренебрегая христианским летосчислением, употреблял древнегреческое, – при папе Иннокентии VIII, на Аппиевой дороге, близ памятника Цецилии Метеллы, в древнем римском саркофаге с надписью: Юлия, дочь Клавдия, ломбардские землекопы нашли тело, покрытое воском, девушки лет пятнадцати, как будто спящей. Румянец жизни не сошел с лица. Казалось, что она дышит. Несметная толпа не отходила от гроба. Из далеких стран приезжали взглянуть на нее, ибо Юлия была так прекрасна, что если бы можно было описать прелесть ее, то невидевшие не поверили бы. Папа испугался, узнав, что народ поклоняется мертвой язычнице, и велел ночью тайно похоронить ее у ворот Пинчианских. – Так вот, братец, какие раскопки бывают!

Мерула с презрением взглянул на яму, которая быстро углублялась.

Вдруг лопата одного из работников зазвенела. Все наклонились.

– Кости! – проговорил садовник. – Кладбище сюда в старину доходило.

В Сан-Джервазио послышался унылый, протяжный вой собаки.

«Могилу осквернили, – подумал Джованни. – Ну их совсем! Уйти от греха...»

– Остов лошадиный, – прибавил Строкко злорадно и вышвырнул из ямы полустгнивший продолговатый череп.

– В самом деле, Грилло, ты, кажется, ошибся, – сказал мессер Чиприано. – Не попытаться ли в другом месте?

– Еще бы! Охота дурака слушать, – произнес Мерула и, взяв двух работников, пошел копать внизу, у подошвы холма. Строкко, также назло упрямому Грилло, увел нескольких людей, желая начать поиски в Мокрой Лощине.

Через некоторое время мессер Джордже воскликнул, торжествуя:

– Вот, вот смотрите! Я знал, где надо рыть! Все бросились к нему. Но находка оказалась нелюбопытной: осколок мрамора был диким камнем.

Тем не менее никто не возвращался к Грилло, и, чувствуя себя опозоренным, стоя на дне ямы, он, при свете разбитого фонаря, продолжал упорно и безнадежно ковырять землю.

Ветер стих. В воздухе потеплело. Туман поднялся над Мокрой Лощинойю. Пахло стоячею водою, желтыми весенними цветами и фиалками. Небо сделалось прозрачнее. Пропели вторые петухи. Ночь была на исходе.

Вдруг из глубины ямы, где находился Грилло, послышался отчаянный вопль:

– Ой, ой, держите, падаю!

Сперва ничего не могли разобрать в темноте, так как фонарь Грилло потух. Только слышно было, как он барахтается, охает и стонет.

Принесли другие фонари и увидели полузасыпанный землей кирпичный свод, как бы крышу тщательно выведенного подземного погреба, которая не выдержала тяжести Грилло и провалилась.

Два молодых сильных работника осторожно слезли в яму.

– Где же ты, Грилло? Давай руку! Или совсем тебя пришибло, бедняга?

Грилло замер, притих и, забыв сильную боль в руке, – он считал ее сломанной, но она была только вывихнута, что-то делал, щупал, ползал и странно копошился в погребе.

Наконец, закричал радостно:

– Идол! Идол! Мессере Чиприано, чудеснейший идол! – Ну, ну, чего кричишь? – проворчал недоверчиво Строкко. – Опять какой-нибудь череп ослиный.

– Нет, нет! Только рука отбита... А ноги, туловище, грудь – все целехонько, – бормотал Грилло, задыхаясь от восторга.

Подвывая себя веревками под мышки и вокруг стана, чтобы свод не провалился, работники опустились в яму и стали бережно разбирать хрупкие, осыпавшиеся кирпичи, покрытые плесенью.

Джованни, полулежа на земле, смотрел между согнутыми спинами рабочих в глубину погреба, откуда веяло спертой сыростью и могильным холодом. Когда свод почти разобрали, мессер Чиприано сказал: – Посторонитесь, дайте взглянуть.

И Джованни увидел на дне ямы, между кирпичными стенами, белое голое тело. Оно лежало, как мертвое в гробу, но казалось не мертвым, а розовым, живым и теплым в колеблющемся отблеске факелов.

– Венера! – прошептал мессер Джордже благоговеино. – Венера Праксителя! Ну, поздравляю вас, мессере Чиприано. Если бы вам подарили герцогство Миланское да в придачу Геную, вы не могли бы считать себя счастливее!..

Грилло вылез с усилием, и хотя по лицу его, запачканному землею, текла кровь из ссадины на лбу, и он не мог шевельнуть вывихнутой рукой, – в глазах сияла гордость победителя.

Мерула подбежал к нему.

– Грилло, друг ты мой любезный, благодетель! А я-то тебя бранил, дураком называл, – умнейшего из людей! И, заключив в объятия, поцеловал с нежностью. – Некогда флорентийский зодчий, Филиппе Брунеллески, – продолжал Мерула, – под своим домом, в таком же точно погребе, нашел мраморную статую бога Меркурия: должно быть, в то время, когда христиане, победив язычников, истребляли идолов, последние поклонники богов, видя совершенства древних статуй и желая спасти их от гибели, прятали изваяния в кирпичные подземелья.

Грилло слушал, блаженно улыбался и не замечал, как пастушья свирель играла в поле, овцы на выгоне блеяли, небо светлело между холмами водянистым светом, и вдалеке, над Флоренцией, нежными голосами перекликались утренние колокола.

– Тише, тише! Правее, вот так. От стены подальше, – приказывал работникам Чиприано. – По пяти серебряных гроссо каждому, если вытащите, не сломав. Богиня медленно подымалась.

С той же ясною улыбкою, как некогда из пены волн морских, выходила она из мрака земли, из тысячелетней могилы.

Слава тебе, златоногая мать Афродита – радость богов и людей! – приветствовал ее Мерула.

Звезды потухли все, кроме звезды Венеры, игравшей, как алмаз, в сиянии зари. И навстречу ей голова богини поднялась над краем могилы.

Джованни взглянул ей в лицо, освещенное утром, и прошептал, бледнея от ужаса: – Белая Дьяволица!

Вскочил и хотел бежать. Но любопытство победило страх. И если бы ему сказали, что он совершает смертный грех, за который будет осужден на вечную гибель, – не мог бы он оторвать взоров от голого невинного тела, от прекрасного лица ее.

В те времена, когда Афродита была владычицей мира, никто не смотрел на нее с таким благоговейным трепетом.

На маленькой сельской церкви Сан-Джервазио ударили в колокол. Все невольно оглянулись и замерли. Этот звук в затишье утра похож был на гневный и жалобный крик. Порой тонкий, дребезжащий колокол замирал, как будто надорвавшись, но тотчас заливался еще громче порывистым, отчаянным звоном.

– Иисусе, помилуй нас! – воскликнул Грилло, хватаясь за голову. – Ведь это священник, отец Фаустино! Смотрите, – толпа на дороге, кричат, увидели нас, руками машут. Сюда бегут... Пропал я, горемычный!..

К Мельничному Холму подъехали новые всадники. То были остальные приглашенные на раскопки. Они опоздали, потому что заблудились.

Бельтраффио мельком взглянул, и как ни был поглощен созерцанием богини, заметил лицо одного из них. Выражение холодного, спокойного внимания и проникновенного любопытства, с которым незнакомец рассматривал Венеру и которое было так противоположно тревоге и смущению самого Джованни, – поразило его. Не подымая глаз, прикованных к статуе, все время чувствовал он за спиной своей человека с необыкновенным лицом.

– Вот что, – произнес мессер Чиприано после некоторого раздумья, – вилла в двух шагах. Ворота крепкие, какую угодно осаду выдержат...

– И то правда! – воскликнул обрадованный Грилло, – ну-ка, братцы, живее, подымайте! Он заботился об сохранении идола с отеческой нежностью.

Статую благополучно перенесли через Мокрую Лощину.

Едва переступили за порог дома, как на вершине Мельничного Холма появился грозный облик отца Фаустино с поднятыми к небу руками.

Нижняя часть виллы была необитаема. Громадный зал, с выбеленными стенами и сводами, служил складом земледельческих орудий и больших глиняных сосудов для оливкового масла. Пшеничная солома, сваленная в углу, золотистой копной громоздилась до потолка.

На ту солому, смиренное сельское ложе, бережно положили богиню.

Только что все успели войти и запереть ворота, как послышались крики, ругательства и громкий стук в ворота.

– Отоприте, отоприте! – кричал тонким, надтреснутым голосом отец Фаустино. – Именем Бога живого заклиная, отоприте!..

Мессер Чиприано по внутренней каменной лестнице поднялся к узкому решетчатому окну, находившемуся очень высоко над полом, оглянул толпу, убедился, что она не велика, и с улыбкой свойственной ему утонченной вежливости начал переговоры.

Священник не унимался и требовал, чтобы отдали идола, которого, по словам его, откопали на кладбищенской земле.

Консул Калималы, решив прибегнуть к военной хитрости, произнес твердо и спокойно:

– Берегитесь! Нарочный послан во Флоренцию к начальнику стражи, и через два часа будет здесь отряд кавалерии: силой никто не войдет в мой дом безнаказанно.

– Ломайте ворота, – воскликнул священник, – не бойтесь! С нами Бог! Рубите!

И, выхватив топор из рук подслеповатого рябого старичка с унылым, кротким лицом и подвязанной щекой, ударил в ворота со всего размаха. Толпа не последовала за ним.

– Дом Фаустино, а дом⁹ Фаустино, – шепелявил кроткий старичок, тихонько трогая его за локоть, – люди мы бедные, денег мотыгой из земли не выкапываем. Засудят – разорят!.. Многие в толпе, заслышав о городских стражниках, думали о том, как бы улизнуть незаметно.

– Конечно, если бы на своей земле, на приходской, – другое дело, – рассуждали одни.

– А где межа-то проходит? Ведь по закону, братцы... – Что закон? Паутина: муха застрянет, шершень вылетит. Закон для господ не писан, – возражали другие. – И то правда! Каждый в земле своей владыка. В то время Джованни по-прежнему глядел на спасенную Венеру.

Луч раннего солнца проник в боковое окно. Мраморное тело, еще не совсем очищенное от земли, искрилось на солнце, словно нежилось и грелось после долгого подземного мрака и холода. Тонкие желтые стебли пшеничной соломы загорались, окружая богиню смиренным и пышным золотым ореолом.

И опять Джованни обратил внимание на незнакомца. Стоя на коленях, рядом с Венерой, вынул он циркуль, угломер, полукруглую медную дугу, наподобие тех, какие употреблялись в математических приборах, и, с выражением того же упорного, спокойного и проникновенного любопытства в холодных, светло-голубых глазах и тонких, плотно сжатых губах, начал мерить различные части прекрасного тела, наклоняя голову, так что длинная белокурая борода касалась мрамора.

– Что он делает? Кто это? – думал Джованни с возрастающим удивлением, почти страхом, следя за быстрыми, дерзкими пальцами, которые скользили по членам богини, проникая во все тайны прелести, ощупывая, исследуя неуловимые для глаза выпуклости мрамора.

У ворот виллы толпа крестьян с каждым мгновением редела и таяла.

– Стойте, стойте, бездельники, хриstopродавцы! Стражи городской испугались, а власти антихристовой не бойтесь! – вопил священник, простирая к ним руки. – *Ipse vero Antichristus opes malorum effodiet et exponet.*¹⁰ – Так говорил великий учитель Ансельм Кентерберийский. *Effodiet?*¹¹

– Но никто уже не слушал.

⁹ Дом (от лат. dominus – господин) – обращение к членам некоторых монашеских орденов.

¹⁰ Антихрист выроет древних богов из земли и снова явит их миру...

¹¹ Слышите?

– И бедовый же у нас отец Фаустино! – покачивал головой благоразумный мельник. – В чем душа держится, а на, поди ты, как расхорохорился! Добро бы клад нашли... – Идолище-то, говорят, серебряное. – Какой серебряное! Сам видел: мраморная, вся голая, бесстыдница...

– С такой паскудою, прости Господи, и рук-то марать не стоит!

– Ты куда, Закелло?

– В поле пора.

– Ну, с богом, а я на виноградник. Вся ярость священника обратилась на прихожан: – А, вот вы как, псы неверные, хамово отродье! Пастыря покинули! Да знаете ли вы, исчадие сатанинское, что если бы я за вас денно и ночью не молился, не бил себя в грудь, не рыдал и не постился, – давно бы уже все ваше селение окаянное сквозь землю провалилось? Кончено! Уйду от вас, и прах от ног моих отряхну. Проклятье на землю сию! Проклятье на хлеб и воду, и стада, и детей, и внуков ваших! Не отец я вам больше, не пастырь! Анафема!

В тихой глубине виллы, где богиня лежала на золотом соломенном ложе, Джордже Мерула подошел к незнакомцу, измерявшему статую.

– Божественной пропорции ищите? – молвил ученый с покровительственной усмешкой. – Красоту желаете к математике свести?

Тот молча посмотрел на него, как будто не расслышал вопроса, и опять углубился в работу.

Ножки циркуля складывались и раздвигались, описывая правильные геометрические фигуры. Спокойным, твердым движением приставил он угломер к прекрасным губам Афродиты, – сердце Джованни улыбка этих губ наполняла ужасом, – сосчитал деления и записал в книгу.

– Позвольте полюбопытствовать, – приставал Мерула, – тут сколько делений?

– Прибор неточный, – ответил незнакомец нехотя. – Обыкновенно для измерения пропорций я разделяю человеческое лицо на градусы, доли, секунды и терции. Каждое деление – двенадцатая часть предыдущего.

– Однако! – произнес Мерула. – Мне кажется, что последнее деление – меньше, чем ширина тончайшего волоса. Пять раз двенадцатая часть...

– Терция, – так же нехотя объяснил ему собеседник, – одна сорок восемь тысяч восемьсот двадцать третья часть всего лица. Мерула поднял брови и усмехнулся:

– Век живи – век учись. Никогда не думал я, что можно дойти до такой точности! – Чем точнее, тем лучше, – заметил собеседник. – О, конечно!.. Хотя, знаете ли, в искусстве, в красоте, все эти математические расчеты – градусы, секунды... Я, признаться, не могу поверить, чтобы художник, в порыве восторга, пламенного вдохновения, так сказать, под наитием Бога...

– Да, да, вы правы, – со скучающим видом согласился незнакомец, – а все же любопытно знать...

И, наклонившись, сосчитал по угломеру число делений между началом волос и подбородком.

– Знать! – подумал Джованни. – Разве тут можно знать и мерить? Какое безумие! Или он не чувствует, не понимает?..

Мерула, очевидно желая задеть противника за живое и вызвать на спор, начал говорить о совершенстве древних, о том, что следует им подражать. Но собеседник молчал, и когда Мерула кончил, – произнес с тонкой усмешкой в свою длинную бороду:

– Кто может пить из родника – не станет пить из сосуда.

– Позвольте! – воскликнул ученый. – Если вы и древних считаете водою в сосуде, то где же родник? – Природа, – ответил незнакомец просто. И когда Мерула опять заговорил напыщенно и раздражительно, – он уже не спорил и соглашался с уклончивой любезностью. Только скучающий взор холодных глаз становился все равнодушнее.

Наконец, Джордже умолк, истощив свои доводы. Тогда собеседник указал на некоторые углубления в мраморе: ни в каком свете, ни слабым, ни сильным, нельзя было видеть их глазом, – только ощупью, проводя рукою по гладкой поверхности, можно было чувствовать эти бесконечные тонкости работы. И одним глубоким, чуждым восторгом, пытливым взором окинул незнакомец все тело богини.

– А я думал, что он не чувствует! – удивился Джованни. – Но, если чувствует, то как можно мерить, испытывать, разлагать на числа? Кто это?

– Мессере, – прошептал Джованни на ухо старику, – послушайте, мессере Джордже, – как имя этого человека?

– А, ты здесь, монашек, – произнес Мерула, обернувшись, – я и забыл о тебе. Да ведь это и есть твой любимец. Как же ты не узнал? Это мессер Леонардо да Винчи. И Мерула познакомил Джованни с художником.

Они возвращались во Флоренцию.

Леонардо ехал шагом на коне. Бельтраффио шел рядом пешком. Они были одни.

Между отволглými черными корнями олив зеленела трава с голубыми ирисами, неподвижными на тонких стеблях. Было так тихо, как бывает только ранним утром раннею весною.

– Неужели это он? – думал Джованни, наблюдая и находя в нем каждую мелочь любопытной.

Ему было лет за сорок. Когда он молчал и думал – острые, светло-голубые глаза под нахмуренными бровями смотрели холодно и проницательно. Но во время разговора становились добрыми. Длинная белокурая борода и такие же светлые, густые, вьющиеся волосы придавали ему вид величавый. Лицо полно было тонкою, почти женственною прелестью, и голос, несмотря на большой рост и могучее телосложение, был тонкий, странно высокий, очень приятный, но не мужественный. Красивая рука, – по тому, как он правил конем, Джованни угадывал, что в ней большая сила, – была нежная, с длинными тонкими пальцами, точно у женщины.

Они подъезжали к стенам города. Сквозь дымку утреннего солнца виднелся купол Собора и башня Палаццо Веккьо.

– Теперь или никогда, – думал Бельтраффио. – Надо решить и сказать, что я хочу поступить к нему в мастерскую.

В это время Леонардо, остановив коня, наблюдал за полетом молодого кречета, который, выслеживая добычу, – утку или цаплю в болотных камышах Муньоне, – кружился в небе плавно и медленно; потом упал стремглав, точно камень, брошенный с высоты, с коротким хищным криком, и скрылся за верхушками деревьев. Леонардо проводил его глазами, не упуская ни одного поворота, движения и взмаха крыльев, открыл привязанную к поясу памятную книжку и стал записывать, – должно быть, наблюдения над полетом птицы.

Бельтраффио, заметив, что карандаш он держал не в правой, а в левой руке, подумал: «левша» – и вспомнил странные слухи, ходившие о нем, – будто бы Леонардо пишет свои сочинения обратным письмом, которое можно прочесть только в зеркале, – не слева направо, как все, а справа налево, как пишут на Востоке. Говорили, что он это делает для того, чтобы скрыть преступные, еретические мысли свои о природе и Боге.

– Теперь или никогда! – снова сказал себе Джованни и вдруг вспомнил суровые слова Антонио да Винчи:

«Ступай к нему, если хочешь погубить душу свою: он еретик и безбожник».

Леонардо с улыбкой указал ему на миндальное деревцо: маленькое, слабое, одинокое, росло оно на вершине пригорка и, еще почти голое, зябкое, уже доверчиво и празднично оделось бело-розовым цветом, который сиял, насквозь пронизанный солнцем, и нежился в голубых небесах.

Но Бельтраффио не мог любоваться. На сердце его было тяжело и смутно.

Тогда Леонардо, как будто угадав печаль его, с добрым тихим взором сказал слова, которые Джованни часто вспоминал впоследствии:

– Если хочешь быть художником, оставь всякую печаль и заботу, кроме искусства. Пусть душа твоя будет, как зеркало, которое отражает все предметы, все движения и цвета, сама оставаясь неподвижным и ясным. Они въехали в городские ворота Флоренции.

Бельтраффьо пошел в Собор, где в это утро должен был проповедовать брат Джироламо Савонарола.

Последние звуки органа замирали под гулками сводами Мариа дель Фьоре. Толпа наполняла церковь душной теплотой, тихим шелестом. Дети, женщины и мужчины отделены были одни от других завесами. Под стрельчатыми арками, уходившими ввысь, было темно и таинственно, как в дремучем лесу. А внизу кое-где лучи солнца, дробясь в темно-ярких стеклах, падали дождем радужных отблесков на живые волны толпы, на серый камень столбов. Над алтарем во мраке краснели огни семисвещников.

Обедня отошла. Толпа ожидала проповедника. Взоры обращены были на высокую деревянную кафедру с витой лестницею, прислоненную к одной из колонн в среднем корабле собора.

Джованни, стоя в толпе, прислушивался к тихим разговорам соседей:

– Скоро ли? – тоскливым голосом спрашивал низкорослый, задышавшийся в тесноте, человек с бледным, потным лицом и прилипшими ко лбу волосами, перевязанными тонким ремнем, – должно быть, столяр.

– Одному Богу известно, – отвечал котельщик, широкоскулый, краснолицый великан с одышкой. – Есть у него в Сан-Марко некий монашек Маруффи, косноязычный и юродивый. Как тот скажет, что пора, – он и идет. Намедни четыре часа прождали, думали, совсем не будет проповеди, а тут и пришел.

– О, Господи, Господи! – вздохнул столяр, – я ведь с полночи жду. Отощал, в глазах темнеет. Маковой росинки во рту не было. Хоть бы на корточки присесть.

– Говорил я тебе, Дамьяно, что надо загодя прийти. А теперь от кафедры вон как далеко. Ничего не услышим.

– Ну, брат, услышишь, не бойся. Как закричит, загремит, – тут тебе не только глухие, но и мертвые услышат! – Нынче, говорят, пророчествовать будет? – Нет, – пока Ноева ковчега не достроит... – Или не слышали? Кончено все до последней доски. И таинственное дано истолкование: длина ковчега – вера, ширина – любовь, высота – надежда. Поспешайте, сказано, поспешайте в Ковчег Спасения, пока еще двери отверзты! Се, время близко, закроются врата; и восплачут многие, что не покаялись, не вошли...

– Сегодня, братцы, о потопе, – семнадцатый стих шестой главы книги Бытия.

– Новое, говорят, было видение о гладе, море и войне. – Коновал из Валломбросы сказывал, – над селением ночью в небе несметные полчища сражались, слышен был стук мечей и броней...

– А правда ли, добрые люди, будто бы на лике Пресвятой Девы, что в Нунциате дей-Серви, кровавый пот выступил?

– Как же! И у Мадонны на мосту Рубаконте каждую ночь слезы капают из глаз. Тетка Лучия сама видела.

– Не к добру это, ой, не к добру! Господи, помилуй нас грешных...

На половине женщин произошло смятение: упала в обморок старушка, стиснутая толпой. Старались поднять ее и привести в чувство.

– Скоро ли? Мочи моей больше нет! – чуть не плакал тщедушный столяр, вытирая пот с лица. И вся толпа изнывала в бесконечном ожидании. Вдруг море голов всколыхнулось. Послышался шепот. – Идет, идет, идет! – Нет, не он. – Фра Доменико да Пешия. – Он, он! – Идет!

Джованни увидел, как на кафедру медленно взошел и откинул куколь с головы человек в черной и белой доминиканской одежде, подпоясанный веревкой, с лицом исхудалым и желтым, как воск, с толстыми губами, крючковатым носом, низким лбом.

Левую руку, как бы в изнеможении, опустил на кафедру, правую поднял и протянул, сжимая Распятие. И молча, медленным взором горящих глаз обвел толпу.

Наступила такая тишина, что каждый мог слышать удары собственного сердца.

Неподвижные глаза монаха разгорались все ярче, как уголья. Он молчал, – и ожидание становилось невыносимым. Казалось – еще миг, и толпа не выдержит, закричит от ужаса.

Но сделалось еще тише, еще страшнее. И вдруг в этой мертвой тишине раздался оглушительный, раздирающий, нечеловеческий крик Савонаролы:

– *Ecce ego adduce aquas super terram!*¹²

Дыхание ужаса, от которого волосы дыбом встают на голове, пронеслось над толпой.

Джованни побледнел: ему почудилось, что земля шатается, своды собора сейчас рухнут и раздавят его. Рядом с ним толстый котельщик затрясся, как лист, и застучал зубами. Столяр весь съежился, вобрал голову в плечи, точно под ударом, – сморщил лицо и зажмурил глаза.

То была не проповедь, а бред, который вдруг охватил все эти тысячи народа, и помчал их, как мчит ураган сухие листья.

Джованни слушал, едва понимая. До него долетали отдельные слова:

«Смотрите, смотрите, вот уже небеса почернели. Солнце багрово, как запекшаяся кровь. Бегите! Будет дождь из огня и серы, будет град из раскаленных камней и целых утесов! *Fuge, o, Sion, quae habitas apud filiam Babylonis!*»¹³

«О, Италия, придут казни за казнями! Казнь войны – за голодом, казнь чумы – за войною! Казнь здесь и там – всюду казни!»

У вас не хватит живых, чтобы хоронить мертвых! Их будет столько в домах, что могильщики пойдут по улицам и станут кричать: «У кого есть мертвые?» и будут наваливать на телеги до самых лошадей, и, сложив их целыми горами, сжигать. И опять пойдут по улицам, крича: «У кого есть мертвые? У кого есть мертвые?» И выйдете вы к ним и скажете: «Вот мой сын, вот мой брат, вот мой муж». И пойдут они далее и будут кричать: «Нет ли еще мертвецов?»

«О, Флоренция, о, Рим, о, Италия! Прошло время песен и праздников. Вы больны, даже до смерти – Господи, ты свидетель, что я хотел поддержать моим словом эту развалину. Но не могу больше, нет моих сил! Я не хочу больше, я не знаю, что еще говорить. Мне остается только плакать, изойти слезами. Милосердия, милосердия. Господи!.. О, мой бедный народ, о, Флоренция!..»

Он раскрыл объятия и последние слова произнес чуть слышным шепотом. Они пронеслись над толпой и замерли, как шелест ветра в листьях, как вздох бесконечной жалости.

И прижимая помертвевшие губы к Распятию, в изнеможении опустил он на колени и зарыдал.

Медленные, тяжкие звуки органа загудели, разрастаясь все шире и необъятнее, все торжественнее и грознее, подобно рокоту ночного океана.

Кто-то вскрикнул в толпе женщин пронзительным голосом:

– *Misericordia!* И тысячи голосов ответили, перекликаясь. Словно колосья в поле под ветром, – волны за волнами, ряды за рядами, – теснясь, давя Друг друга, как под грозой овцы в испуганном стаде, они падали на колени. И сливаясь с многоголосым ревом и гулом органа, потрясая землю, каменные столбы и своды собора, вознесся покаянный вопль народа, крик погибающих людей к Богу: – *Misericordia! Misericordia!*

¹² Се Аз низведу воды на землю!

¹³ Беги, о, Сион, живущий у дочери Вавилонской! (лат.)

Джованни упал, рыдая. Он чувствовал на спине своей тяжесть толстого котельщика, который в тесноте навалился на него, горячо дышал ему в шею и тоже рыдал. Рядом тщедушный столяр странно и беспомощно всхлипывал, точно икал, захлебываясь, как маленькие дети, и кричал пронзительно: – Милосердия! Милосердия!

Бельтраффио вспомнил свою гордыню и мирское любомудрие, желание уйти от фра Бенедетто и предаться опасной, быть может, богопротивной науке Леонардо, вспомнил и последнюю страшную ночь на Мельничном Холме, воскресшую Венеру, свой грешный восторг перед красотой Белой Дьяволицы – и протягивая руки к небу, таким же отчаянным голосом, как все, возопил:

– Помилуй, Господи! Согрешил я пред Тобой, прости и помилуй!

И в то же мгновение, подняв лицо, мокрое от слез, увидел невдалеке Леонардо да Винчи. Художник стоял, опираясь плечом о колонну, в правой руке держал свою неизменную записную книжку, левой рисовал в ней, иногда вскидывая глаза на кафедру, должно быть, надеясь еще раз увидеть голову проповедника.

Чуждый всем, один в толпе, обуянной ужасом, Леонардо сохранял совершенное спокойствие. В холодных, бледно-голубых глазах его, в тонких губах, плотно сжатых, как у человека, привыкшего к вниманию и точности, была не насмешка, а то самое любопытство, с которым он мерил математическими приборами тело Афродиты.

Слезы на глазах Джованни высохли; молитва замерла на губах.

Выйдя из церкви, он подошел к Леонардо и попросил позволения взглянуть на рисунок. Художник сперва не соглашался; но Джованни настаивал с умоляющим видом, и, наконец, Леонардо отвел его в сторону и подал ему записную книжку.

Джованни увидел страшную карикатуру. Это было лицо не Савонаролы, а старого безобразного дьявола в монашеской рясе, похожего на Савонаролу, изможденного самоистязаниями, но не победившего гордыни и похоти. Нижняя челюсть выдавалась вперед, морщины бороздили щеки и шею, отвислую, черную, как на высохшем трупе, вздернутые брови щетинились, и нечеловеческий взор, полный упрямой, почти злобной мольбы, устремлен был в небо. Все темное, ужасное и безумное, что предавало брата Джироламо во власть юродивому, косноязычному ясновидцу Маруффи, было испытано в этом рисунке, обнажено без гнева и жалости, с невозмутимой ясностью знания.

И Джованни вспомнил слова Леонардо: «Душа художника должна быть подобной зеркалу, которое отражает все предметы, все движения и цвета, само оставаясь неподвижным и ясным».

Ученик фра Бенедетто поднял глаза на Леонардо и почувствовал, что хотя бы ему, Джованни, грозила вечная погибель, хотя бы он убедился, что Леонардо действительно слуга Антихриста, – не может он уйти от него, и неодолимая сила привлекает его к этому человеку: он должен узнать его до конца.

Немного времени спустя во Флоренцию пришла весть о том, что Карл VIII, христианнейший король Франции, во главе несметного войска, выступил в поход для завоевания Неаполя и Сицилии, быть может, Рима и Флоренции.

Граждане были в ужасе, ибо видели, что пророчества брата Джироламо Савонаролы совершаются – казни идут и меч Божий опускается на Италию.

Дня через два во Флоренцию, в дом мессера Чиприано Буонаккорзи, в это время занятого неожиданным стечением торговых дел и потому не успевшего перевезти Венеру в город, – прибежал Грилло с горестным известием: приходский священник, отец Фаустино, покинув Сан-Джервазио, отправился в соседнее горное селение Сан-Маурицио, запугал народ небесными карами, собрал ночью отряд поселян, осадил виллу Буонаккорзи, выломал двери, избил садовника Строкко, связал по рукам и ногам приставленных к Венере сторожей; над богиней была прочитана сложенная в древние времена молитва – *oratio super offigies vasaque in loco antique*

pereta; в этой молитве над изваяниями и сосудами, находимыми в древних гробницах, служитель церкви просит Бога очистить вырытые из земли предметы от языческой скверны, обратив их на пользу душ христианских во славу Отца, Сына и Духа Святого, – *ut omni iamunditia depulsa sint fidelibus tuis utenda per Cristum Dominum nostrum*. Потом мраморное изваяние разбили, осколки бросили в печь, обожгли, приготовили известь и обмазали ею недавно выведенную стену сельского кладбища.

При этом рассказе старого Грилло, который едва не плакал от жалости к идолу, Джованни почувствовал решимость. В тот же день пошел он к Леонардо и попросил, чтобы художник принял его учеником в свою мастерскую. И Леонардо принял его.

Вторая книга Esse Deus – Esse Homo¹⁴

«Если тяжелый орел на крыльях держится в редком воздухе, если большие корабли на парусах движутся по морю, – почему не может и человек, рассекая воздух крыльями, овладеть ветром и подняться на высоту победителем?»

В одной из своих старых тетрадей прочел Леонардо эти слова, написанные пять лет назад. Рядом был рисунок: дышло, с прикрепленным к нему круглым железным стержнем, поддерживало крылья, приводимые в движение веревками.

Теперь машина эта казалась ему неуклюжей и безобразной.

Новый прибор напоминал летучую мышь. Остов крыла состоял из пяти пальцев, как на руке скелета, многоколенчатых, сгибающихся в суставах. Сухожилие из ремней дубленой кожи и шнурков сырого телка, с рычагом и шайбой, в виде мускула, соединяло пальцы. Крыло поднималось посредством подвижного стержня и шатуна. Накрахмаленная тафта, не пропускавшая воздуха, как перепонка на гусиной лапе, сжималась и распускалась. Четыре крыла ходили крест-накрест, как ноги лошади. Длина их – сорок локтей, высота подъема – восемь. Они откидывались назад, давая ход вперед, и опускались, подымая машину вверх. Человек, стоя, вдевал ноги в стремена, приводившие в движение крылья посредством шнуров, блоков и рычагов. Голова управляла большим рулем с перьями, наподобие птичьего хвоста.

Птица, прежде чем вспорхнуть с земли, для первого размаха крыльев, должна приподняться на лапках: каменный стриж, у которого лапки короткие, положенный на землю, бьется и не может взлететь. Две тростниковые лесенки заменяли в приборе птичьи лапки.

Леонардо знал по опыту, что совершенное устройство машины сопровождается изяществом и соразмерностью всех частей: уродливый вид необходимых лесенок смущал изобретателя.

Он погрузился в математические выкладки: искал ошибку и не мог найти. Вдруг со злобой зачеркнул страницу, наполненную мелкими тесными рядами цифр, на полях написал: «неверно!» и сбоку прибавил ругательство большими, яростными буквами: «К черту!»

Вычисления становились все запутаннее; неуловимая ошибка разрасталась.

Пламя свечи неровно мигало, раздражая глаз. Кот, успевший выспаться, вспрыгнул на рабочий стол, потянулся, выгнув спину и начал играть лапкою с изъеденным молью чучелом птицы, подвешенным на бечевке к деревянной перекладине, – прибором для определения центра тяжести при изучении полета. Леонардо толкнул кота, так что он едва не упал со стола и жалобно мяукнул.

– Ну, Бог с тобой, ложись, где хочешь, – только не мешай.

Ласково провел рукою по черной шерсти. В ней затрещали искры. Кот поджал бархатные лапки, важно улегся, замурлыкал и устремил на хозяина неподвижные зеленоватые зрачки, полные негой и тайною.

Опять потянулись цифры, скобки, дроби, уравнения, кубические и квадратные корни. Вторая бессонная ночь пролетала незаметно. Вернувшись из Флоренции в Милан, Леонардо провел целый месяц, почти никуда не выходя, в работе над летательной машиной.

¹⁴ Се Бог – се человек (лат.)

В открытое окно заглядывали ветки белой акации, иногда роняя на стол нежные, сладко-пахучие цветы. Лунный свет, смягченный дымкой рыжеватых облаков с перламутровым отливом, падал в комнату, смешиваясь с красным светом заплывшей свечи.

Комната была загромождена машинами и приборами по астрономии, физике, химии, механике, анатомии. Колеса, рычаги, пружины, винты, трубы, стержни, дуги, поршни и другие части машин – медные, стальные, железные, стеклянные – как члены чудовищ или громадных насекомых, торчали из мрака, переплетаясь и путаясь. Виднелся водолазный колокол, мерцающий хрусталь оптического прибора, изображавшего глаз в больших размерах, скелет лошади, чучело крокодила, банка с человеческим зародышем в спирту, похожим на бледную огромную личинку, острые лодкообразные лыжи для хождения по воде, и рядом, должно быть, случайно попавшая сюда из мастерской художника, глиняная головка девушки или ангела с лукавой и грустной улыбкой.

В глубине, в темном зеве плавильной печи с кузнечными мехами, розовели под пеплом угли.

И надо всем от полу до потолка распростиравлись крылья машины – одно еще голое, другое затянутае перепонкою. Между ними на полу, развалившись и закинув голову, лежал человек, должно быть, уснувший во время работы. В правой руке его была рукоять закоптелого медного черпака, откуда на пол вылилось олово. Одно из крыльев нижним концом тростникового легкого остова касалось груди спящего и от его дыхания тихонько вздрагивало, двигалось, как живое, шуршало о потолок острым верхним концом.

В неверном сиянии луны и свечи машина, с человеком между раскинутыми крыльями, имела вид гигантского нетопыря, готового вспорхнуть и улететь.

Луна закатилась. С огородов, окружавших дом Леонардо в предместьи Милана между крепостью и монастырем Мария делле Грацие, повеяло запахом овощей и трав – мяты, укропа. В гнезде над окном защелбетали ласточки. В сажалке утки брызгались и весело крякали.

Пламя свечи померкло. Рядом, в мастерской, послышались голоса учеников.

Их было двое – Джованни Бельтраффио и Андреа Салаино. Джованни срисовывал анатомический слепок, сидя перед прибором для изучения перспективы – четырехугольной деревянной рамой с веревочной сеткой, которая соответствовала такой же сетке из пересекавшихся линий на бумаге рисовальщика.

Салаино накладывал алебастр на липовую доску для картины. Это был красивый мальчик с невинными глазами и белокурыми локонами, баловень учителя, который писал с него ангелов.

– Как вы думаете, Андреа, – спросил Бельтраффио, – скоро ли мессер Леонардо кончит машину?

– А Бог его знает, – ответил Салаино, насвистывая песенку и поправляя атласные, шитые серебром, отвороты новых башмаков. – В прошлом году два месяца просидел, и ничего не вышло, кроме смеха. Этот косолапый медведь Зороастро пожелал лететь, во что бы то ни стало. Учитель его отговаривал, но тот заупрямился. И представь, взобрался-таки чудак на крышу, обмотал себя по всему телу связанными, как четки, бычачьими да свиными пузырями, чтобы не разбиться, если упадет, – поднял крылья и сначала вспорхнул, ветром его понесло, что ли, а потом сорвался, полетел вверх ногами – и прямо в навозную кучу. Мягко было, не расшибся, а только все пузыри на нем сразу лопнули, и такой был гром, как от пушечного выстрела, – даже галки на соседней колокольне испугались и улетели. А новый-то наш Икар ногами болтает в воздухе, вылезть не может из навозной кучи!

В мастерскую вошел третий ученик Чезаре да Сесто, человек уже немолодой, с болезненным желчным лицом, с умными и злыми глазами. В одной руке держал он кусок хлеба с ломтем ветчины, в другой – стакан вина.

– Тьфу, кислятина! – плюнул он, поморщившись. – И ветчина, как подошва. Удивляюсь: жалованья две тысячи дукатов в год – и кормит людей такую дрянью!

– Вы бы из другого бочонка, что под лестницей, в чулане, – молвил Салаино.

– Пробовал. Еще хуже. Что это у тебя, опять обновка? – посмотрел Чезаре на щегольской берет Салаино из пунцового бархата. – Ну и хозяйство у нас, нечего сказать. Собачья жизнь! На кухне второй месяц свежего окорока не могут купить. Марко божится, что у самого мастера ни гроша – все на эти крылья окаянные просаживает, в черном теле держит всех, – а деньги-то, вот они где! Любимчиков задаривает! Бархатные шапочки! И как тебе не стыдно, Андреа, от чужих людей подачки принимать? Ведь мессер Леонардо тебе не отец, не брат, и ты уже не маленький...

– Чезаре, – сказал Джованни, чтобы переменить разговор, – наемни вы обещали мне объяснить одно правило перспективы, помните? Учителя мы, видно, не дождемся. Он так занят машиною...

– Да, братцы, погодите, – ужо все в трубу вылетим с этой машиною, чтобы черт ее побрал! А, впрочем, не одно, так другое. Помню, однажды, среди работы над Тайной Вечерей, мастер вдруг увлекся изобретением новой машины для приготовления миланской червеллаты – белой колбасы из мозгов. И голова апостола Иакова Старшего так и осталась неоконченной, ожидая совершенства колбасного крошила. Лучшую из своих Мадонн забросил он в угол, пока изобретал самовращающийся вертел, чтобы равномерно жарить каплунов и поросят. А это великое открытие щелока из куриного помета для стирки белья! Верите ли, – нет такой глупости, которой бы мессер Леонардо не предался с восторгом, только бы отделаться от живописи!

Лицо Чезаре передернулось судорогою, тонкие губы сложились в злую усмешку.

– И зачем только Бог дает таким людям талант! – прибавил он тихо и яростно.

А Леонардо все еще сидел, согнувшись над рабочим столом.

Ласточка влетела в открытое окно и закружилась в комнате, задевая о потолок и стены; наконец попала в крыло летательного прибора, как в западню, и запуталась в сетке веревочных сухожилий своими маленькими живыми крыльями.

Леонардо подошел, освободил пленницу, бережно, так, чтобы не причинить ей боли, взял в руку, поцеловал в шелковисто-черную головку и пустил в окно.

Ласточка взвилась и потонула в небе с радостным криком.

– Как легко, как просто! – подумал он, проводив ее завистливым, печальным взором. Потом с брезгливым чувством взглянул на свою машину, на мрачный остов исполинской летучей мыши. Человек, спавший на полу, проснулся. Это был помощник Леонардо, искусный флорентийский механик и кузнец, по имени Зороастро или Астро да Перетола.

Он вскочил, протирая свой единственный глаз: другой – вытек от искры, попавшей в него из пылающего горна во время работы. Неуклюжий великан, с детским простодушным лицом, вечно покрытым сажей и копотью, походил на одноглазого циклопа.

– Проспал! – воскликнул кузнец, в отчаянии хватаясь за голову. – Черт меня побери! – Эх, мастер, как же вы не разбудили? Торопился, думал, к вечеру и левое кончу, чтобы завтра утром лететь...

– Хорошо сделал, что выспался, – молвил Леонардо. – Все равно крылья не годятся.

– Как? Опять не годятся? Ну, нет, мессере, воля ваша, а я этой машины переделывать не стану. Сколько денег, сколько труда! И опять все прахом пойдет! Чего же еще? Чтоб на этаких крыльях да не полететь! Не только человека-слона подымут! Вот увидите, мастер. Дозвольте разок попытаться – ну, хоть над водой, – если упаду, только выкупаюсь, я ведь плаваю, как рыба, ни за что не утону! i Он сложил руки с умоляющим видом.

Леонардо покачал головой. – Потерпи, друг. Все будет в свое время. Потом...

– Потом! – простонал кузнец, чуть не плача. – Отчего же не теперь? Право же, ну вот, как Бог свят, – полечу! – Не полетишь, Астро. Тут математика. – Так я и знал! Ну ее ко всем

дьяволам, вашу математику! Только смущает. Сколько лет корпим! Душа изныла. Каждый глупый комар, моль, муха, прости Господи, поганая, навозная, и та летает, а люди, как черви, ползают. Разве это не обида? И чего ждать? Ведь вот они, крылья! Все готово, – кажется, взял бы, благословясь, взмахнул да и полетел, – только меня и видели! Вдруг он что-то вспомнил, и лицо его просияло. – Мастер, а, мастер? Что я тебе скажу. Сон-то я какой видел сегодня. Удивительный! – Опять летал?

– Да. И ведь как! Ты только послушай. Стою будто бы среди толпы в незнакомой горнице. Все на меня смотрят, пальцами указывают, смеются. Ну, думаю, если теперь не полечу – плохо. Подскочил, руками замахал изо всей мочи и стал подыматься. Сперва трудно, словно гора на плечах. А потом все легче да легче, – взвился, едва головой о потолок не стукнулся. И все кричат: смотрите, смотрите-полетел! Я прямо в окно, и все выше да выше, под самое небо, – только ветер в ушах свистит, и весело мне, смеюсь: почему, думаю, прежде не умел летать. Разучился, что ли? Ведь вот как просто! И никакой машины не надо!

Послышались вопли, ругательства, топот быстрых шагов по лестнице. Дверь распахнулась, и в нее вбежал человек с жесткой щетиной огненно-рыжих волос, с красным лицом, покрытым веснушками. Это был ученик Леонардо – Марко д'Оджоне.

Он бранился, бил и тащил за ухо худенького мальчика лет десяти.

– Да пошлет тебе Господь злую Пасху, негодяй! Пятки я тебе сквозь глотку пропущу, мерзавец! – За что ты его. Марко? – спросил Леонардо. – Помилуйте, мессер! Две серебряные пряжки стибрил, флоринов десять каждая. Одну успел заложить и деньги в кости проиграл, другую зашил себе в платье, за подкладку – я там и нашел. Как следует хотел оттаскать за вихры, а он мне же руку до крови укусил, чертенок! И с новой яростью схватил мальчика за волосы. Леонардо заступился и отнял у него ребенка. Тогда Марко выхватил из кармана связку ключей – он исполнял должность ключника в доме – и крикнул:

– Вот ключи, мессере! С меня довольно! С негодяями и ворами в одном доме я не живу. Или я, или он!

– Ну, успокойся, Марко, успокойся... Я накажу его, как следует.

Из двери мастерской выглядывали подмастерья. Между ними протеснилась толстая женщина – стряпуха Матурина. Только что вернулась она с рынка и держала в руке корзину с луком, рыбою, алыми жирными баклажанами и волокнистыми фэнокки. Увидев маленького преступника, замахала руками и затараторила – точно сухой горох посыпался из дырявого мешка.

Говорил и Чезаре, выражая удивление, что Леонардо терпит в доме этого «язычника», ибо нет такой бесцельной и жестокой шалости, на которую не способен Джакопо! камнем перешиб намедни ногу больному старому Фаджано, дворовому псу, разорил гнездо ласточек над конюшнею, и все знают, что его любимая забава – обрывать бабочкам крылья, любуясь их мучениями.

Джакопо не отходил от учителя, посматривая на врагов исподлобья, как затравленный волчонок. Красивое бледное лицо его было неподвижно. Он не плакал, но, встречая взгляд Леонардо, злые глаза выражали робкую мольбу.

Матурина вопила, требуя, чтобы выпороли, наконец, этого бесенка: иначе он всем на шею сядет, и житья от него не будет.

– Тише, тише! Замолчите, ради Бога, – произнес Леонардо, и на лице его появилось выражение странного малодушия, беспомощной слабости перед семейным бунтом. Чезаре смеялся и шептал, злорадствуя. – Смотреть тошно! Мямля! С мальчишкой справиться не может... Когда наконец все накричались вдоволь и мало-помалу разошлись, Леонардо подозвал Бельтраффио, сказал ему ласково:

– Джованни, ты еще не видел Тайной Вечери. Я туда иду. Хочешь со мной? Ученик покраснел от радости.

Они вышли на маленький двор. Посередине был колодец. Леонардо умылся. Несмотря на две бессонные ночи, он чувствовал себя свежим и бодрым.

День был туманный, безветренный, с бледным, точно подводным, светом; такие дни художник любил для работы.

Пока они стояли у колодца, подошел Джакопо. В руках держал он самодельную коробку из древесной коры.

– Мессере Леонардо, – произнес мальчик боязливо, – вот для вас...

Он осторожно приподнял крышку: на дне коробки был громадный паук.

– Едва поймал, – объяснил Джакопо. – В щель между камнями ушел. Три дня просидел. Ядовитый!

Лицо мальчика вдруг оживилось.

– А как мух-то ест!

Он поймал муху и бросил в коробку. Паук кинулся на добычу, схватил ее мохнатыми лапами, и жертва забилась, зажужжала все слабее, все тоньше.

– Сосет, сосет! Смотрите, – шептал мальчик, замирая от наслаждения. Глаза его горели жестоким любопытством, и на губах дрожала неясная улыбка.

Леонардо тоже наклонился, глядя на чудовищное насекомое.

И вдруг Джованни показалось, что у них у обоих в лицах мелькнуло общее выражение, как будто, несмотря на бездну, отделявшую ребенка от художника, они сходились в этом любопытстве к ужасному.

Когда муха была съедена, Джакопо бережно закрыл коробочку и сказал:

– Я к вам на стол отнесу, мессере Леонардо, – может быть, вы еще посмотрите. Он с другими пауками смешно дерется...

Мальчик хотел уйти, но остановился и поднял глаза с умоляющим видом. Углы губ его опустились и дрогнули. – Мессере, – произнес он тихо и важно, – вы на меня не сердитесь! Ну, что ж, – я и сам уйду, я давно думал, что надо уйти, только не для них – мне все равно, что они говорят, – а для вас. Ведь я знаю, что я вам надоел. Вы один добрый, а они злые, такие же, как я, только притворяются, а я не умею... Я уеду и буду один. Так лучше. Только вы меня все-таки простите...

Слезы заблестели на длинных ресницах мальчика. Он повторил еще тише, потупившись:

– Простите, мессере Леонардо!.. А коробочку я отнесу. Пусть останется вам на память.

Паук проживет долго. Я попрошу Астро, чтобы он кормил его... Леонардо положил руку на голову ребенка. – Куда ты пойдешь, мальчик? Оставайся. Марко тебя простит, а я не сержусь. Ступай и вперед постарайся не делать зла никому.

Джакопо молча посмотрел на него большими недоумевающими глазами, в которых сияла не благодарность, а изумление, почти страх.

Леонардо ответил ему тихой, доброй улыбкой и погладил по голове с нежностью, как будто угадывая вечную тайну этого сердца, созданного природой злым и невинным во зле.

– Пора, – молвил учитель, – пойдем, Джованни. Они вышли в калитку и, по безлюдной улице, между заборами садов, огородов и виноградников, направились к монастырю Мария делле Грации.

Последнее время Бельтраффио был опечален тем, что не мог внести учителю условленной ежемесячной платы в шесть флоринов. Дядя поссорился с ним и не давал ни гроша. Джованни брал деньги у фра Бенедетто, чтобы заплатить за два месяца. Но у монаха больше не было: он отдал ему последние.

Джованни хотел извиниться перед учителем. – Мессере, – начал он робко, заикаясь и краснея, – сегодня четырнадцатое, а я плачу десятого по условию. Мне очень совестно... Но вот у меня всего только три флорина. Может быть, вы согласитесь подождать. Я скоро достану

денег. Мерула обещал мне переписку... Леонардо посмотрел на него с изумлением: – Что ты, Джованни? Господь с тобой! Как тебе не стыдно говорить об этом?

По смущенному лицу ученика, по неискусным, жалобным и стыдливым заплатам на старых башмаках с протертыми веревочными швами, по изношенному платью он понял, что Джованни сильно нуждается. Леонардо нахмурился и заговорил о другом. Но через некоторое время, с небрежным и как бы рассеянным видом, пошарил в кармане, вынул золотую монету и сказал:

– Джованни, прошу тебя, зайди потом в лавку, купи мне голубой бумаги для рисования, листов двадцать, красного мела пачку да хорьковых кистей. Вот, возьми.

– Здесь дукат. На покупку десять сольди. Я принесу сдачи...

– Ничего не принесешь. Успеешь отдать. Больше о деньгах никогда и думать не смей, слышишь?

Он отвернулся и молвил, указывая на утренние туманные очертания лиственниц, уходивших вдаль длинным рядом по обоим берегам Навильо Гранде, канала, прямого, как стрела.

– Заметил ты, Джованни, как в легком тумане зелень деревьев становится воздушно-голубою, а в густом – бледно-серой.

Он сделал еще несколько замечаний о различии теней, бросаемых облаками на летние, покрытые листвою, и зимние, безлиственные горы. Потом опять обернулся к ученику и сказал: – А ведь я знаю, почему ты вообразил, что я скряга. Готов побиться об заклад, что верно угадал. Когда мы с тобой говорили о месячной плате, должно быть, ты заметил, как я расспросил и записал в памятную книжку все до последней мелочи, сколько, когда, от кого. Только, видишь ли? – надо тебе знать, друг мой, что у меня такая привычка, должно быть, от отца моего, нотариуса Пьетро да Винчи, самого точного и благоразумного из людей. Мне она впрок не пошла и в делах никакой пользы не приносит. Веришь ли, иногда самому смешно перечитывать – такие пустяки записываю! Могу сказать с точностью, сколько данари стоило перо и бархат для новой шляпы Андреа Салаино, а куда тысячи дукатов уходят, не знаю. Смотри же, – вперед, Джованни, не обращай внимания на эту глупую привычку. Если тебе нужны деньги, бери и верь, что я тебе даю, как отец сыну...

Леонардо взглянул на него с такою улыбкой, что на сердце ученика сразу сделалось легко и радостно.

Указывая спутнику на странную форму одного низкорослого шелковичного дерева в саду, мимо которого они проходили, учитель заметил, что не только у каждого дерева, но и у каждого из листьев – особенная, единственная, более нигде и никогда в природе не повторяющаяся, форма, как у каждого человека – свое лицо.

Джованни подумал, что он говорит о деревьях с той же самой добротой, с которой только что говорил об его горе, как будто это внимание ко всему живому, обращаясь на природу, давало взгляду учителя пронизательность ясновидящего.

На низменной, плодородной равнине из-за темнозеленых тутовых деревьев выступила церковь доминиканской обители Мария делле Грацие, кирпичная, розовая, веселая на белом облачном небе, с широким ломбардским куполом, подобным шатру, с лепными украшениями из обожженной глины – создание молодого Браманте. Они вошли в монастырскую трапезную.

Это была простая длинная зала с голыми выбеленными стенами, с темными деревянными балками потолка, уходившими вглубь. Пахло теплою сыростью, ладаном и застарелым чадом постных блюд. У простенка, ближайшего ко входу, находился небольшой обеденный стол отца-игумена. По обеим сторонам его-длинные узкие столы монахов.

Было так тихо, что слышалось жужжание мухи в окне с пыльно-желтыми гранями стекла. Из монастырской кухни доносился говор, стук железных сковород и кастрюль.

В глубине трапезной, у стены, противоположной столу приора, затянутой серым грубым холстом, возвышались дощатые подмости.

Джованни догадался, что под этим холстом – произведение, над которым учитель работал уже более двенадцати лет, – Тайная Вечеря.

Леонардо взошел на подмости, отпер деревянный ящик, где хранились подготовительные рисунки, картоны, кисти и краски, достал маленькую, исчерченную заметками на полях, истрепанную латинскую книгу, подал ее ученику и сказал:

– Прочти тринадцатую главу от Иоанна. И откинул покрывало.

Когда Джованни взглянул, в первое мгновение ему показалось, что перед ним не живопись на стене, а действительная глубина воздуха, продолжение монастырской трапезной – точно другая комната открылась за отдернутой завесой, так что продольные и поперечные балки потолка ушли в нее, суживаясь в отдалении, и свет дневной слился с тихим вечерним светом над голубыми вершинами Сиона, которые виднелись в трех окнах этой новой трапезной, почти такой же простой, как монашеская, только обитой коврами, более уютной и таинственной. Длинный стол, изображенный на картине, похож был на те, за которыми обедали монахи: такая же скатерть с узорными, тонкими полосками, с концами, завязанными в узлы, и четырехугольными, нерасправленными складками, как будто еще немного сырая, только что взятая из монастырской кладовой, такие же стаканы, тарелки, ножи, стеклянные сосуды с вином. И он прочел в Евангелии:

«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их.

И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Искариоту предать Его, – возмущился духом, и сказал: аминь, аминь, глаголю вам, один из вас предаст меня.

Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.

Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.

Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.

Он, припавши к груди Иисуса, сказал ему: „Господи, кто это?“

Иисус ответил: „тот, кому я, омочив хлеб, подам“. И омочив хлеб, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана».

Джованни поднял глаза на картину.

Лица апостолов дышали такою жизнью, что он как будто слышал их голоса, заглядывал в глубину их сердец, смущенных самым непонятным и страшным из всего, что когда-либо совершалось в мире, – рождением зла, от которого Бог должен умереть.

Особенно поразили Джованни Иуда, Иоанн и Петр. Голова Иуды не была еще написана, только тело, откинутае назад, слегка очерчено: сжимая в судорожных пальцах мощну со серебряниками, нечаянным движением руки опрокинул он солонку – и соль просыпалась.

Петр, в порыве гнева, стремительно вскочил из-за него, правой рукой схватил нож, левую опустил на плечо Иоанна, как бы вопрошая любимого ученика Иисусова: «кто предатель?» – и старая, серебристо-седая, лучезарно гневная голова его сияла тою огненною ревностью, жаждою подвига, с которою некогда он должен был воскликнуть, поняв неизбежность страданий и смерти Учителя: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя».

Ближе всех ко Христу был Иоанн; мягкие как шелк, гладкие вверху, книзу выющиеся волосы, опущенные веки, отягченные негою сна, покорно сложенные руки, лицо с продолговато-круглым очерком – все дышало в нем небесной тишиной и ясностью. Один из всех уче-

ников, он больше не страдал, не боялся, не гневался. В нем исполнилось слово Учителя: «да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и Я в Тебе». Джованни смотрел и думал:

«Так вот кто Леонардо! А я еще сомневался, едва не поверил клевете. Человек, который создал это, – безбожник? Да кто же из людей ближе ко Христу, чем он!».

Окончив нежными прикосновениями кисти лицо Иоанна и взяв из ящика кусок угля, учитель пытался сделать очерк головы Иисуса. Но ничего не выходило.

Обдумывая десять лет эту голову, он все еще не умел набросать даже первого очерка.

И теперь, как всегда, перед гладким белым местом в картине, где должен был и не мог явиться лик Господа, художник чувствовал свое бессилие и недоумение.

Отбросив уголь, стер губкою легкий след его и погрузился в одно из тех размышлений перед картиной, которые длились иногда целыми часами.

Джованни взошел на подмостки, тихонько приблизился к нему и увидел, что мрачное, угрюмое, точно постаревшее, лицо Леонардо выражает упорное напряжение мысли, подобное отчаянию. Но, встретив взор ученика, он молвил приветливо: – Что скажешь, друг?

– Учитель, что я могу сказать? Это – прекрасно, прекраснее всего, что есть в мире. И этого никто из людей не понял, кроме вас. Но лучше не говорить. Я не умею...

Слезы задрожали в голосе его. И он прибавил тихо, как будто с боязнью:

– И вот, что я еще думаю и не понимаю: каким должно быть лицо Иуды среди таких лиц?

Учитель достал из ящика рисунок на клочке бумаги и показал ему.

Это было лицо страшное, но не отталкивающее, даже не злобное – только полное бесконечную скорбью и горечью познания.

Джованни сравнил его с лицом Иоанна. – Да, – произнес он шепотом, – это он! Тот, о ком сказано: «вошел в него сатана». Он, может быть, знал больше всех, но не принял этого слова: «да будут все едино». Он сам хотел быть один.

В трапезную вошел Чезаре да Сесто с человеком в одежде придворных истопников.

– Наконец-то нашли мы вас! – воскликнул Чезаре. – Всюду ищем... От герцогини по важному делу, мастер!..

– Не угодно ли будет вашей милости пожаловать во дворец? – добавил истопник почтительно. – Что случилось?

– Беда, мессер Леонардо! В банях трубы не действуют, да еще, как на грех, сегодня утром, только что герцогиня изволила в ванну сесть, а служанка за бельем вышла в соседнюю горницу, ручка на кране с горячей водой сломалась, так что их светлость никак не могли воду остановить. Хорошо, что успели выскочить из ванны. Едва кипятком не обожглись. Очень изволят, гневаться: мессер Амброджо да Феррари, управляющий, жалуются, говорят, – неоднократно предупреждали вашу милость о неисправности труб...

– Вздор! – молвил Леонардо. – Видишь, я занят. Ступай к Зороastro. Он в полчаса поправит. – Никак нет, мессере! Без вас приходиться не велено... Не обращая на него внимания, Леонардо хотел опять приняться за работу. Но, взглянув на пустое место для головы Иисуса, поморщился с досадою, махнул рукой, как бы вдруг поняв, что и на этот раз ничего не выйдет, запер ящик с красками и сошел с подмосток.

– Ну, пойдем, все равно! Приходи за мной на большой двор замка, Джованни. Чезаре тебя проводит. Я буду ждать вас у Коня.

Этот Конь был памятник покойного герцога Франческо Сфорца.

И к изумлению Джованни, не оглянувшись на Тайную Вечерю, как будто радуясь предложению уйти от работы, учитель пошел с истопником чинить трубы для спуска грязной воды в герцогских банях.

– Что? Насмотреться не можешь? – обратился Чезаре к Бельтраффио. – Пожалуй, оно и вправду удивительно, пока не раскусишь... – Что ты хочешь сказать?

– Нет, так... Я не буду разуберять тебя. Может быть, и сам увидишь. Ну, а пока – умиляйся...

– Прошу тебя, Чезаре, скажи прямо все, что ты думаешь.

– Изволь. Только, чур, потом не сердись и не пеняй за правду. Впрочем, я знаю все, что ты скажешь, и спорить не буду. Конечно, это – великое произведение. Ни у одного мастера не было такого знания анатомии, перспективы, законов света и тени. Еще бы! Все с природы списано – каждая морщинка в лицах, каждая складка на скатерти. Но духа живого нет. Бога нет и не будет. Все мертво – внутри, в сердце мертво! Ты только взглядишь, Джованни, какая геометрическая правильность, какие треугольники: два созерцательных, два деятельных, средоточие во Христе. Вон по правую сторону – созерцательный: совершенное добро – в Иоанне, совершенное зло – в Иуде, различие добра от зла, справедливость – в Петре. А рядом – треугольник деятельный: Андрей, Иаков Младший, Варфоломей. И по левую сторону от центра – опять созерцательный: любовь Филиппа, вера Иакова Старшего, разум Фомы – и снова треугольник деятельный. Геометрия вместо вдохновения, математика вместо красоты! Все обдуманно, рассчитано, изжевано разумом до тошноты, испытано до отвращения, взвешено на весах, измерено циркулем. Под святыней – кощунство!

– О, Чезаре! – произнес Джованни с тихим упреком, – как ты мало знаешь учителя! И за что ты так его... не любишь?..

– А ты знаешь и любишь? – быстро обернув к нему лицо, молвил Чезаре с язвительной усмешкой.

В глазах его сверкнула такая неожиданная злоба, что Джованни невольно потупился.

– Ты несправедлив, Чезаре, – прибавил он, помолчав. – Картина не кончена: Христа еще нет.

– Христа нет. А ты уверен, Джованни, что Он будет? Ну, что же, посмотрим! Только помяни мое слово: Тайной Вечери мессер Леонардо не кончит никогда, ни Христа, ни Иуды не напишет. Ибо, видишь ли, друг мой, математикой, знанием, опытом многого достигнешь, но не всего. Тут нужно другое. Тут предел, которого он со всей своей наукой не переступит!

Они вышли из монастыря и направились к замку Каstellо-ди-Порта-Джовиа. – По крайней мере, в одном, Чезаре, ты наверное ошибаешься, – сказал Бельтраффио, – Иуда уже есть... – Есть? Где? – Я видел сам. – Когда?

– Только что, в монастыре. Он мне показывал рисунок. – Тебе? Вот как! Чезаре посмотрел на него и молвил медленно, как будто с усилием: – Ну и что же, хорошо?.. Джованни молча кивнул головой. Чезаре ничего не ответил и во всю дорогу уже больше не заговаривал, погруженный в задумчивость.

Они подошли к воротам замка и через Баттипонте, подъемный мост, вступили в башню южной стены, Торреды-Филарете, со всех сторон окруженную водою глубоких рвов. Здесь было мрачно, душно, пахло казармой, хлебом и навозом. Эхо под гулкими сводами повторяло разномысленный говор, смех и ругательства наемников.

Чезаре имел пропуск. Но Джованни, как незнакомого, осмотрели подозрительно и записали имя его в караульную книгу.

Через второй подъемный мост, где подвергли их новому осмотру, вступили они на пустынную внутреннюю площадь замка, Пьяцца д'Арме – Марсово Поле.

Прямо перед ними чернела зубчатая башня Бонны Савойской над Мертвым Рвом, Фоссато Мурто. Справа был вход в почетный двор, Кортэ Дукале, слева – в самую неприступную часть замка, крепость Рокетту, настоящее орлиное гнездо.

Посередине площади виднелись деревянные леса, окруженные небольшими пристройками, заборами и навесами из досок, сколоченных на скорую руку, но уже потемневших от старости, кое-где покрытых пятнами желто-серых лишайев.

Над этими заборами и лесами возвышалось глиняное изваяние, называвшееся Колоссом, в двенадцать локтей вышины, конная статуя работы Леонардо.

Гигантский конь из темно-зеленой глины выделялся на облачном небе. он взвился на дыбы, попирая копытами воина; победитель простирал герцогский жезл. Это был великий кондотьер, Франческо Сфорца, искатель приключений, продавший кровь свою за деньги – полусолдат, полуразбойник. Сын бедного романьольского землепашца, вышел он из народа, сильный, как лев, хитрый, как лиса, достиг вершины власти злодеяниями, подвигами, мудростью – и умер на престоле миланских герцогов. Луч бледного влажного солнца упал на Колосса. Джованни прочел в этих жирных морщинах двойного подбородка, в страшных глазах. Полных хищною зоркостью, добродушное спокойствие сытого зверя. А на подножии памятника увидел запечатленной в мягкой глине рукой самого Леонардо двустеишие:

Expectant animi molemque futuram,
Suspiciunt; fluat aes; vox erit: Ecce Deus!¹⁵

Его поразили два последние слова *Ecce Deus!* – Се Бог!

– Бог, – повторил Джованни, взглянув на глиняного Колосса и на человеческую жертву, попираемую конем триумфатора, Сфорца-Насильника, и вспомнил безмолвную трапезную в обители Марии Благодатной, голубые вершины Сиона, небесную прелесть лица Иоанна и тишину последней Вечери того Бога, о котором сказано: *Ecce homo!* – Се человек! К Джованни подошел Леонардо.

– Я кончил работу. Пойдем. А то опять позовут во дворец: там, кажется, кухонные трубы дымят. Надо улизнуть, пока не заметили.

Джованни стоял молча, потупив глаза; лицо его было бледно.

– Простите, учитель!.. Я думаю и не понимаю, как вы могли создать этого Колосса и Тайную Вечерю вместе, в одно и то же время?

Леонардо посмотрел на него с простодушным удивлением.

– Чего же ты не понимаешь?

– О, мессер Леонардо, разве вы не видите сами? Этого нельзя – вместе...

– Напротив, Джованни. Я думаю, что одно помогает другому: лучшие мысли о Тайной Вечере приходят мне именно здесь, когда я работаю над Колоссом, и, наоборот, там, в монастыре, я люблю обдумывать памятник. Это два близнеца. Я их вместе начал. – вместе кончу.

– Вместе! Этот человек и Христос? Нет, учитель, не может быть!.. – воскликнул Бельтраффио и, не умея лучше выразить своей мысли, но чувствуя, как сердце его возмущается нестерпимым противоречием, он повторял: – Этого не может быть!.. – Почему не может? – молвил учитель. Джованни хотел что-то сказать, но, встретив взор спокойных, недоумевающих глаз Леонардо, понял, что нельзя ничего сказать, что все равно – он не поймет.

– Когда я смотрел на Тайную Вечерю, – думал Бельтраффио, – мне казалось, что я узнал его. И вот опять я ничего не знаю. Кто он? Кому из двух сказал он в сердце своем: Се Бог? Или Чезаре прав, и в сердце Леонардо нет Бога?

Ночью, когда все в доме спали, Джованни вышел, мучимый бессонницей, на двор и сел у крыльца на скамью под навесом виноградных лоз.

Двор был четырехугольный, с колодцем посередине. Ту сторону, которая была за спиной Джованни, занимала стена дома; против него были конюшни; слева каменная ограда с калиткою, выходившею на большую дорогу к Порта Верчеллина, справа – стена маленького сада, и в

¹⁵ Предчувствуют души грядущее; Расплавится медь; и голос будет: се Бог! (лат.)

ней дверца, всегда запиравшаяся на замок, потому что в глубине сада было отдельное здание, куда хозяин не пускал никого, кроме Астро, и где он часто работал в совершенном уединении.

Ночь была тихая, теплая и сырая; душный туман пропитан мутным лунным светом.

В запертую калитку стены, выходявшей на большую дорогу, послышался стук.

Ставня одного из нижних окон открылась, высунулся человек и спросил:

– Мона Кассандра?

– Я. Отопри.

Из дома вышел Астро и отпер.

Во двор вступила женщина, одетая в белое платье, казавшееся на луне зеленоватым, как туман.

Сначала они поговорили у калитки; потом прошли мимо Джованни, не заметив его, окутанного черной тенью от выступа крыльца и виноградных лоз. Девушка присела на невысокий край колодца. Лицо у нее было странное, равнодушное и неподвижное, как у древних изваяний: низкий лоб, прямые брови, слишком маленький подбородок и глаза прозрачно-желтые, как янтарь. Но больше всего поразили Джованни волосы: сухие, пушистые, легкие, точно обладавшие отдельную жизнь, – как змеи Медузы, окружали они голову черным ореолом, от которого лицо казалось еще бледнее, алые губы – ярче, желтые глаза – прозрачнее.

– Ты, значит, тоже слышал, Астро, о брате Анджело? – сказала девушка.

– Да, мона Кассандра. Говорят, он послан папою для искоренения колдовства и всяких ересей. Как послушаешь, что добрые люди рассказывают об отцах-инквизиторах, мороз по коже подирает. Не дай Бог попасть им в лапы! Будьте осторожнее. Предупредите вашу тетку...

– Какая она мне тетка!

– Ну, все равно, эту мону Сидонию, у которой вы живете.

– А ты думаешь, кузнец, что мы ведьмы?

– Ничего я не думаю! Мессер Леонардо подробно объяснил и доказал мне, что колдовства нет и быть не может, по законам природы. Мессер Леонардо все знает и ни во что не верит...

– Ни во что не верит, – повторила мона Кассандра, – в черта не верит? А в Бога?

– Не смейтесь. Он человек праведный.

– Я не смеюсь. А только, знаешь ли, Астро, какие бывают забавные случаи? Мне рассказывали, что у одного великого безбожника отцы-инквизиторы нашли договор с дьяволом, в котором этот человек обязывался отрицать, на основании логики и естественных законов, существование ведьм и силу черта, дабы, избавив слуг сатанинских от преследований Святейшей Инквизиции, тем самым укрепить и умножить царство дьявола на земле. Вот почему говорят: быть колдуном – ересь, а не верить в колдовство – дважды ересь. Смотри же, кузнец, не выдавай учителя, – никому не рассказывай, что он не верит в черную магию.

Сначала Зороастро смутился от неожиданности, потом стал возражать, оправдывая Леонардо. Но девушка перебила его:

– А что, как у вас летательная машина? Скоро будет готова? Кузнец махнул рукой.

– Готова, как бы не так! Все сызнова переделывать будем.

– Ах, Астро, Астро! И охота тебе верить вздору! Разве ты не понимаешь, что все эти машины только для отвода глаз? Мессер Леонардо, я полагаю, давно уже летает...

– Как летает?

– Да вот так же, как я.

Он посмотрел на нее в раздумьи.

– Может быть, это вам только снится, мона Кассандра?

– А как же другие видят? Или ты об этом не слышал?

Кузнец в нерешительности почесал у себя за ухом.

– Впрочем, я и забыла, – продолжала она с насмешкою, – вы ведь тут люди ученые, ни в какие чудеса не верите, у вас все механика!

– Ну ее к черту! Вот она мне где, эта механика! – указал кузнец на свой затылок. Потом, сложив руки с мольбою, воскликнул: – Мона Кассандра! Вы знаете, я человек верный. Да мне и болтать невыгодно. Того и гляди, брат Анджело самих притянет. Скажите же, сделайте милость, скажите мне все в точности!

– Что сказать?

– Как вы летаете?

– Вот чего захотел! Ну, нет, – этого я тебе не скажу. Много будешь знать, рано составишься.

Она помолчала. Потом, заглянув ему прямо в глаза долгим взглядом, прибавила тихо: – Что тут говорить? Делать надо!

– А что нужно? – спросил он дрогнувшим голосом, немного бледнея.

– Слово знать, и зелье такое есть, чтобы тело мазать.

– У вас есть?

– Есть.

– И слово знаете?

Девушка кивнула головою.

– И полечу?

– Попробуй. Увидишь – это вернее механики!

Единственный глаз кузнеца загорелся огнем безумного желания.

– Мона Кассандра, дайте мне вашего зелья! Она засмеялась тихим, странным смехом.

– И чудак же ты, Астро! Только что сам называл тайны магии глупыми бреднями, а теперь вдруг поверил...

Астро потупился с унылым, упрямым выражением в лице.

– Я хочу попробовать. Мне ведь все равно – чудом или механикой, только бы лететь! Я больше ждать не могу...

Девушка положила ему руку на плечо. – Ну, Бог с тобой! Мне тебя жаль. В самом деле, чего доброго, с ума сойдешь, если не полетишь. Уж так и быть, дам я тебе зелья и слово скажу. Только и ты, Астро, сделай то, о чем я тебя попрошу. – Сделаю, мона Кассандра, сделаю все! Говорите!.. Девушка указала на мокрую черепичную крышу, блестящую за стеной сада в лунном тумане. – Пусти меня туда. Астро нахмурился и покачал головой. – Нет, нет... Все, что хотите, только не это! – Почему?

– Я слово дал не пускать никого. – А сам был? – Был. – Что же там такое?

– Да никаких тайн. Право же, мона Кассандра, ничего любопытного: машины, приборы, книги, рукописи, есть и редкие цветы, животные, насекомые-ему путешественники привозят из далеких стран. И еще одно дерево, ядовитое... – Как ядовитое?..

– Так, для опытов. Он отравил его, изучая действие ядов на растения.

– Прошу тебя, Астро, расскажи мне все, что ты знаешь об этом дереве.

– Да тут и рассказывать нечего. Ранней весной, когда оно было в соку, пробуравил отверстие в стволе до сердцевины и полою, длинною иглою вбрызгивал какую-то жидкость. – Странные опыты! Какое же это дерево? – Периковое.

– Ну, и что же? Плоды налились ядом? – Налются, когда созреют. – И видно, что они отравлены?

– Нет, не видно. Вот почему он и не впускает никого: можно соблазниться красотой плодов, съесть и умереть. – Ключ у тебя? – У меня. – Дай ключ, Астро!

– Что вы, что вы, мона Кассандра! Я поклялся ему... – Дай ключ! – повторила Кассандра. – Я сделаю так, что ты в эту же ночь полетишь, слышишь, – в эту же ночь! Смотри, вот зелье.

Она вынула из-за пазухи и показала ему стеклянный пузырек, наполненный темной жидкостью, слабо блеснув шей в лунном свете, и, приблизив к нему лицо, прошептала вкрадчиво:

– Чего ты боишься, глупый? Сам же говоришь, что нет никаких тайн. Мы только войдем и посмотрим... Ну же, дай ключ!

– Оставьте меня! – проговорил он. – Я все равно не пушу, и зелья мне вашего не надо. Уйдите!

– Трус! – молвила девушка с презрением. – Ты мог бы и не смеешь знать тайны. Теперь я вижу, что он колдун и обманывает тебя, как ребенка... Он молчал угрюмо, отвернувшись. Девушка опять подошла к нему:

– Ну, хорошо, Астро, не надо. Я не войду. Только открой дверь и дай посмотреть... – Не войдете? – Нет, только открой и покажи. Он вынул ключ и отпер.

Джованни, тихонько привстав, увидел в глубине маленького сада, окруженного стенами, обыкновенное персиковое дерево. Но в бледном тумане, под мутно-зеленым лунным светом, оно показалось ему зловещим и призрачным.

Стоя у порога, девушка смотрела с жадным любопытством широко открытыми глазами; потом сделала шаг вперед, чтобы войти. Кузнец удержал ее. Она боролась, скользила между рук, как змея. Он оттолкнул ее так, что она едва не упала. Но тотчас выпрямилась и посмотрела на него в упор. Бледное, точно мертвое, лицо ее было злобно и страшно: в эту минуту она в самом деле была похожа на ведьму.

Кузнец запер дверь сада и, не прощаясь с моной Кассандрой, вошел в дом.

Она проводила его глазами. Потом быстро прошла мимо Джованни и выскользнула в калитку на большую дорогу к Порта-Верчеллина.

Наступила тишина. Туман еще сгустился. Все исчезало и таяло в нем.

Джованни закрыл глаза. Перед ним встало, как в видении, страшное дерево с тяжелыми каплями на мокрых листьях, с ядовитыми плодами в мутно-зеленом лунном свете – и вспомнились ему слова Писания:

«Заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть.

А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

Третья книга

Ядовитые плоды

Герцогиня Беатриче каждую пятницу мыла голову и золотила волосы. После крашения надо было сушить их на солнце.

С этой целью устраивались вышки, окруженные перилами, на крышах домов.

Герцогиня сидела на такой вышке, над громадным загородным дворцом герцогской виллы Сфорцески, терпеливо вынося палящий зной, в то время, когда и работники с волами уходят в тень.

Ее облакала просторная, из белого шелка, накидка без рукавов. На голове была соломенная шляпа – солнцевик, для предохранения лица от загара. Позолоченные волосы, выпущенные из круглого отверстия шляпы, раскинуты были по широким полям. Желтолицая рабыня-черкешенка смачивала волосы губкою, насаженной на острие веретена. Татарка, с узкими косыми щелями глаз, чесала их гребнем из слоновой кости.

Жидкость для золочения приготовлялась из майского сока корней орешника, шафрана, бычачьей желчи, ласточкина помета, серой амбры, жженных медвежьих когтей и ящеричного масла.

Рядом, под наблюдением самой герцогини, на треножнике, с побледневшим от солнца, почти невидимым пламенем, в длинноносой реторте, наподобие тех, которые употреблялись алхимиками, кипела розовая мускатная вода с драгоценной виверрою, адрагантовой камедью и любистоком.

Обе служанки обливались потом. Даже комнатная собачка герцогини не находила себе места на знойной вышке, укоризненно шурилась на свою хозяйку, тяжело дышала, высунув язык, и не ворчала, по обыкновению, в ответ на заигрывания вертлявой мартышки. Обезьяна была довольна жарою так же, как арапчонок, державший зеркало, оправленное в жемчуг и перламутр.

Несмотря на то, что Беатриче постоянно желала придать лицу своему строгость, движениям плавность, которые приличествовали ее сану, трудно было поверить, что ей девятнадцать лет, что у нее двое детей, и что она уже три года замужем. В ребяческой полноте смуглых щек, в невинной складке на тонкой шее под слишком круглым и пухлым подбородком, в толстых губах, сурово сжатых, точно всегда немного надутых и капризных, в узких плечах, в плоской груди, в угловатых, порывистых, иногда почти мальчишеских движениях видна была школьница, избалованная, своенравная, без удержу резвая и самолюбивая. А между тем, в твердых, ясных, как лед, коричневых глазах ее светился расчетливый ум. Самый проницательный из тогдашних государственных людей, посол Венеции, Марине Сануто, в тайных письмах уверял синьорию, что эта девочка в политике – настоящий кремьень, что она более себе на уме, чем герцог Лодовико, муж ее, который отлично делает, слушаясь своей жены во всем.

Комнатная собачка сердито и хрипло залаяла. По крутой лесенке, соединявшей вышку с уборными и гардеробными покоями, взошла, кряхтя и охая, старуха в темном вдовьем платье. Одной рукой перебирала она четки, в другой держала костыль. Морщины лица ее казались бы почтенными, если бы не приторная сладость улыбки, мышинное проворство глаз.

– О-хо-хо, старость – не радость! Едва вползла. Господь да пошлет доброго здоровья вашей светлости.

Раболепно приподняв с полу край умывальной накидки, она приложила к ней губами. – А, мона Сидония! Ну, что, готово? Старуха вынула из мешка тщательно завернутую и закупоренную склянку с мутною, белесоватою жидкостью – молоком ослицы и рыжей козы, настоящим на диком бадьяне, корнях спаржи и луковицах белых лилий.

– Денька два еще надо бы в теплом лошадином навозе продержать. Ну, да все равно – полагаю, и так поспело. Только перед тем, как умываться, велите сквозь войлочное сито пропустить. Намочите мякоть сдобного хлеба и личико извольте вытирать столько времени, сколько нужно, чтобы три раза прочесть «Верую». Через пять недель всякую смуглоту снимет. И от прыщиков помогает. – Послушай, старуха, – молвила Беатриче, – может быть в этом умывании опять какая-нибудь гадость, которую ведьмы в черной магии употребляют, вроде змеиного сала, крови удода и порошка лягушек, сушеных на сковородке, как в той мази для вытравливания волос на родинках, которую ты мне намедни приносила. Тогда лучше скажи прямо.

– Нет, нет, ваша светлость! Не верьте тому, что люди болтают. Я работаю начистоту, без обмана. Как кто хочет. Ведь и то сказать, иногда без дряни не обойдешься: вот, например, досточтимая мадонна Анджелика целое прошлое лето псиною мочою голову мыла, чтобы не облысеть, и еще Бога благодарила, что помогло.

Потом, наклонившись к уху герцогини, начала рассказывать последнюю городскую новость о том, как молоденькая жена главного консула соляного приказа, прелестная мадонна Филиберта изменяет мужу и забавляется с приезжим испанским рыцарем.

– Ах ты, старая сводня! – полушутливо пригрозила ей пальцем Беатриче, видимо наслаждаясь сплетнею. – Сама же соблазнила несчастную...

– И, полноте, ваша светлость, какая она несчастная! Поет словно птичка – радуется, каждый день меня благодарит. Воистину, говорит, я только теперь познала, сколь великая существует разница между поцелуями мужа и любовника.

– А грех? Неужели совесть ее не мучит? – Совесть? Видите ли, ваша светлость: хотя монахи и попы утверждают противное, но я так думаю, что любовный грех – самый естественный из грехов. Достаточно нескольких капель святой воды, чтобы смыть его. К тому же, изменяя супругу, мадонна Филиберта тем самым, как говорится, платит ему пирогом за ватрушку и, если не совершенно заглаживает, то, по крайней мере, весьма облегчает перед Богом его собственные грехи. – А разве и муж?..

– Наверное не знаю. Но все они на один лад, ибо полагаю, нет на свете такого мужа, который лучше не согласился бы иметь одну руку, чем одну жену. Герцогиня рассмеялась.

– Ах, мона Сидония, на тебя и сердиться нельзя! Откуда ты берешь такие словечки?

– Да уж верьте старухе-все, что говорю, святая правда! Я ведь тоже в делах совести соломинку от бревна отличить сумею... Всякому овощу свое время. Не утолившись в юности любовью, наша сестра на старости лет мучится таким раскаянием, что оно доводит ее до когтей дьявола.

– Ты рассуждаешь, как магистр богословия! – Я женщина неученая, но от всего сердца говорю, ваша светлость! Цветущая юность дается в жизни только раз, ибо какому черту, прости Господи, мы, бедные женщины, годны, состарившись? Разве на то, чтобы сторожить золу в камельках. Прогонять нас на кухню мурлыкать с кошками, пересчитывать горшки да противни. Сказано: молодежи покормиться, а старухам подавиться. Красота без любви – все равно, что обедня без «Отче Наш», а ласки мужа унылы, как игры монахинь. Герцогиня опять рассмеялась. – Как? Как? Повтори!

Старуха посмотрела на нее внимательно, и, должно быть, рассчитав, что достаточно позабавила пустяками, опять наклонилась к уху ее и зашептала. Беатриче перестала смеяться.

Она сделала знак. Рабыни удалились. Только арапчонок остался на вышке: он не понимал по-итальянски.

Их окружало тихое небо, бледное, как будто помертвелое от зноя.

– Может быть, вздор? – сказала, наконец, герцогиня. – Мало ли что болтают...

– Нет, синьора! Я сама видела и слышала. Вам и другие скажут.

– Много было народу?

– Тысяч десять: вся площадь перед Павийским замком полна.

– Что же ты слышала?

– Когда мадонна Изабелла вышла на балкон с маленьким Франческо, все замахали руками и шапками, многие плакали. «Да здравствует, – кричали, – Изабелла Арагонская, Джан-Галеаццо, законный государь Милана, и наследник Франческо! Смерть похитителям престола!»... Беатриче нахмурилась.

– Этими самыми словами?

– Да, и еще хуже...

– Какие? Говори все, не бойся!..

– Кричали – у меня, синьора, язык не поворачивается – кричали: «Смерть ворам!»

Беатриче вздрогнула, но, тотчас преодолев себя, спросила тихо: – Что же ты слышала еще?

– Право, не знаю, как и передать вашей милости... – Да ну же, скорее! Я хочу знать все! – Верите ли, синьора, в толпе говорили, что светлейший герцог Лодовико Моро, опекун и благодетель Джан-Галеаццо, заточил своего племянника в Павийскую крепость, окружив его наемными убийцами и шпионами. Потом стали вопить, требуя, чтобы к ним вышел сам герцог. Но мадонна Изабелла ответила, что он лежит больной...

И мона Сидония опять таинственно зашептала на ухо герцогине.

Сперва Беатриче слушала внимательно; потом обернулась гневно и крикнула:

– С ума ты сошла, старая ведьма! Как ты смеешь! Да я сейчас велю тебя сбросить с этой вышки, так что ворон костей твоих не соберет!..

Угроза не испугала мону Сидонию. Беатриче также скоро успокоилась.

– Я этому и не верю, – молвила она, посмотрев на старуху исподлобья. Та пожала плечами:

– Воля ваша, а не верить нельзя...

– Извольте ли видеть, вот как это делается, – продолжала она вкрадчиво: – лепят маленькое изваяние из воска, вкладывают ему в правую сторону сердце, в левую – печень ласточки, прокалывают иглою, произнося заклинания, и тот, на кого изваяние похоже, умирает медленною смертью... Тут уж никакие врачи не помогут...

– Молчи, – перебила ее герцогиня, – никогда не смей мне говорить об этом!..

Старуха опять благоговейно поцеловала край умывальной одежды.

– Ваше великолепие! Солнышко вы мое ясное! Слишком люблю я вас – вот и весь мой грех! Верите ли, со слезами молю Господа за ваше здоровье каждый раз, как поют «Magnificat»¹⁶ на повечерии св. Франциска. Люди говорят, будто я ведьма, но, если бы я и продала душу мою дьяволу, то, видит Бог, только для того, чтобы хоть чем-нибудь угодить вашей светлости! И она прибавила задумчиво: – Можно и без колдовства.

Герцогиня посмотрела на нее молча, с любопытством. – Когда я сюда шла по дворцовому саду, – продолжала мона Сидония беспечным голосом, – садовник собирал в корзину отличные персики: должно быть, подарок мессеру Джан-Галеаццо? – И помолчав, прибавила:

– А в саду флорентийского мастера Леонардо да Винчи тоже, говорят, удивительной красоты персики, только ядовитые... – Как ядовитые? – Да, да. Мона Кассандра, племянница моя, видела...

Старуха снова зашушукала на ухо Беатриче.

Герцогиня ничего не ответила; выражение глаз ее осталось непроницаемым.

Волосы уже высохли. Она встала, сбросила с плеч накидку и спустилась в гардеробные покои.

¹⁶ «Величит душа моя Господа» (лат.)

Здесь стояли три громадных шкафа. В первом, похожем на великолепную ризницу, развешаны были по порядку восемьдесят четыре платья, которые успела она сшить себе за три года замужества. Одни отличались, вследствие обилия золота и драгоценных камней, такою плотностью, что могли прямо, без поддержки, стоять на полу; другие были прозрачны и легки, как паутина. Во втором находились принадлежности соколиной охоты и лошадиная сбруя. В третьем – духи, воды, полосканья, притирания, зубные порошки из белого коралла и жемчуга, бесчисленные баночки, колбы, перегонные шлемы, горлянки – целая лаборатория женской алхимии. В комнате стояли также роскошные ящики, покрытые живописью, и кованые сундуки.

Когда служанка отперла один из них, чтобы вынуть свежую рубашку, повеяло благоуханием тонкого камбрейского белья, переложенного лавандовыми пучками и шелковыми подушками с порошком из левантских ирисов и дамасских роз, сушеных в тени.

Одеваясь, Беатриче беседовала со швеею о выкройке нового платья, только что полученной с гонцом от сестры, маркизы Мантуанской, Изабеллы д'Эсте, тоже великой модницы. Сестры соперничали в нарядах. Беатриче завидовала вкусу Изабеллы и подражала ей. Один из посланников герцогини Миланской тайно извещал ее о всех новинках мантуанского гардероба.

Беатриче надела платье с рисунком, особенно любимым ею за то, что он скрадывал ее маленький рост: ткань состояла из продольных перемежающихся полос зеленого бархата и золотой парчи. Рукава, перевязанные лентами серого шелка, были в обтяжку, с французскими модными прорезами – «окнами», через которые виднелось белоснежное полотно рубашки, все в мелких, пышных сборках. Волосы украшены были редкой, легкой как дым, золотой сеткою и заплетены в косу. Голову окружала тонкая нить фероньеры с прикрепленным к ней маленьким рубиновым скорпионом.

Она привыкла одеваться так долго, что, по выражению герцога, можно было бы за это время снарядить целый торговый корабль в Индию.

Наконец, услышав вдалеке звук рогов и лай борзых, вспомнила, что заказала охоту, и заторопилась. Но, уже готовая, по дороге зашла в покои своих карликов, названные в шутку «жилищем гигантов» и устроенные в подражание таким же игрушечным комнатам во дворце Изабеллы д'Эсте.

Стулья, кровати, утварь, лесенки с широкими низкими ступенями, даже часовня с кукольным алтарем, за которым служил обедню ученый карлик Янаки, в нарочно сшитых для него архиепископских ризах и митре, – все было рассчитано на рост пигмеев.

В «жилище гигантов» всегда был шум, смех, плач, крик разнообразных, порой страшных, голосов, как в зверинце или сумасшедшем доме, ибо здесь копошились, рождались, жили и умирали в душной неопрятной тесноте – мартышки, горбуны, попугаи, арапки, дуры, калмычки, шутихи, кролики, карлики и другие потешные твари, среди которых молодая герцогиня нередко проводила дни, забавляясь, как девочка.

На этот раз, спеша на охоту, зашла она сюда только на минутку, сведать о здоровье маленького арапчонка Наннино, недавно присланного из Венеции. Кожа у Наннино была такой черноты, что, по выражению прежнего владельца его, «лучшего и желать невозможно». Герцогиня играла им, как живую куклою. Арапчонок заболел. И хваленая чернота его оказалась не совсем природною, ибо краска, вроде лака, которая придавала телу его черный блестящий лоск, мало-помалу начала слезать, к великому горю Беатриче.

В последнюю ночь ему сделалось хуже; боялись, что он умрет. Узнав об этом, герцогиня весьма опечалилась, ибо любила его, по старой памяти, даже побледневшего. Она велела как можно скорее крестить арапчонка, чтобы он, по крайней мере, не умер язычником.

Спускаясь, на лестнице встретила она свою любимую Дурочку Моргантину, еще не старую, хорошенькую и такую забавную, что, по словам Беатриче, она могла бы рассмешить мертвеца.

Моргантина любила воровать: украдет что-нибудь, спрячет в угол, под сломанную половицу, в мышиную норку, и ходит, довольная; когда же спросят ее с лаской: «Будь доброю, скажи, куда спрятала?» – возьмет за руку, с лукавым видом, поведет и покажет. А если крикнуть: «Ну-ка, речку вброд», – Моргантина, не стыдясь, подымает платье так высоко, как только может.

Порой находила на нее Дурь; тогда по целым дням плакала она о несуществующем ребеночке, – никаких детей у нее не было, – и так всем надоедала, что ее запирали в чулан.

И теперь, сидя в углу лестницы, обняв колени руками и равномерно покачиваясь, Моргантина заливалась горькими слезами.

Беатриче подошла и погладила ее по голове. – Перестань, будь умницей!

Дурочка, подняв на нее свои голубые детские глаза, завывала еще жалобнее.

– Ой, ой, ой! Отняли у меня родненького! И за что, Господи? Никому он не делал зла. Я им тихо утешалась... Герцогиня сошла на двор, где ее ждали охотники.

Окруженная вершниками, сокольничими, псарями, стремянными, пажами и дамами, она держалась прямо и смело на караковом поджаром берберийском жеребце завода Гонзага не как женщина, а как опытный наездник. «Настоящая королева амазонок!» – с гордостью подумал герцог Моро, вошедший на крытый ход перед дворцом полюбоваться выездом супруги.

За седлом герцогини сидел охотничий леопард в ливрее, шитой золотом, с рыцарскими гербами. На левой руке – белый, как снег, кипрский сокол, подарок султана, сверкал усыпанным изумрудами золотым клубочком. На лапах его звенели бубенцы разнозвучными, переливчатыми звонами, которые помогали находить птицу, когда терялась она в тумане или болотной траве.

Герцогине было весело, хотелось шалить, смеяться, скакать, сломя голову. Оглянувшись с улыбкой на мужа, который успел только крикнуть: «Берегись, лошадь горя чая!» – она сделала знак своим спутницам и помчалась вперегонку с ними, сначала по дороге, потом в полечерез канавы, кочки, рвы и плетни.

Доезжачие отстали. Впереди всех неслась Беатриче со своим громадным волкодавом и рядом, на черной испанской кобыле, самая веселая и бесстрашная из фрейлин, мадонна Лукреция Кривелли.

Герцог был втайне равнодушен к Лукреции. Теперь, любуясь на нее и Беатриче вместе, не мог решить, кто из них ему больше нравится. Но тревогу испытывал за жену. Когда лошади перескакивали через ямы, жмурил глаза, чтобы не видеть; дух у него захватывало.

Он бранил герцогиню за эти шалости, но сердиться не мог: подозревая в себе недостаток телесной отваги, гордился втайне храбростью жены.

Охотники исчезли в лозняке и камышовых зарослях на низменном берегу Тичино, где водились гуси и цапли. Герцог вернулся в маленькую рабочую комнату – студиоло. Здесь ожидал его для продолжения прерванных занятий главный секретарь, сановник, заведовавший иностранными посольствами, мессер Бартоломео Калко.

Сидя в высоком кресле, Моро тихонько ласкал белой холеной рукой свои гладко бритые щеки и круглый подбородок.

Благообразное лицо его имело тот отпечаток прямодушной откровенности, который приобретают только лица совершенных в лукавстве политиков. Большой орлиный нос с горбинкой, выдающиеся вперед, как будто заостренные, тонко извилистые губы напоминали отца его, великого кондотьера Франческо Сфорца. Но если Франческо, по выражению поэтов, в одно и то же время был львом и лисицею, то сын его унаследовал от отца и приумножил только лисью хитрость без львиного мужества.

Моро носил простое изящное платье бледно-голубого шелка с разводами, модную прическу – гладкую, волосок к волоску, закрывавшую уши и лоб почти до бровей, похожую на

густой парик. Золотая плоская цепь висела на груди его. В обращении была равная со всеми утонченная вежливость.

– Имеете ли вы какие-нибудь точные сведения, мессер Бартоломео, о выступлении французского войска из Лиона?

– Никаких, ваша светлость. Каждый вечер говорят завтра, каждое утро откладывают. Король увлечен не воинственными забавами. – Как имя первой любовницы?

– Много имен. Вкусы его величества прихотливы и непостоянны.

– Напишите графу Бельджойозо, – молвил герцог, – что я высылаю тридцать... нет, мало, сорок... – пятьдесят тысяч дукатов для новых подарков. Пусть не жалеет. Мы вытащим короля из Лиона золотыми цепями) И знаете ли, Бартоломео, – конечно, это между нами, – не мешало бы послать его величеству портреты некоторых здешних красавиц. – Кстати, письмо готово? – Готово, синьор. – Покажи.

Моро с удовольствием потирал мягкие, белые руки. Каждый раз, как он оглядывал громадную паутину своей политики, – испытывал он знакомое сладкое замирание сердца, как перед сложной и опасной игрой. По совести, не считал он себя виновным, призывая чужеземцев, северных варваров на Италию, ибо к этой крайности принуждали его враги, среди которых злейшим была Изабелла Арагонская, супруга Джан-Галеаццо, всенародно обвинившая герцога Лодовико в том, что он похитил престол у племянника. Только тогда, когда отец Изабеллы, король Неаполя, Альфонсо, в отмщение за обиду дочери и зятя, стал грозить Моро войною и низвержением с престола, – всеми покинутый, обратился он к помощи французского короля Карла VIII.

– Неисповедимы пути твои, Господи! – размышлял герцог, пока секретарь доставал из кипы бумаг черновой набросок письма. – Спасение моего государства, Италии, быть может, всей Европы в руках этого жалкого заморыша, сластолюбивого и слабоумного ребенка, христианнейшего короля Франции, перед которым мы, наследники великих Сфорца, должны пресмыкаться, ползать, чуть не сводничать! Но такова политика: с волками жить – по-волчьи выть.

Он перечел письмо: оно показалось ему красноречивым, в особенности ежели принять в расчет пятьдесят тысяч дукатов, высылаемых графу Бельджойозо для подкупа приближенных его величества, и соблазнительные портреты итальянских красавиц.

«Господь да благословит твое крестоносное воинство, Христианнейший, – говорилось, между прочим, в этом послании, – врата Авзонии открыты пред тобой. Не медли же, вступи в них триумфатором, о, новый Ганнибал! Народы Италии алчут приять твое иго сладчайшее, помазанник божий, ожидают тебя, как некогда, по воскресении Господа, патриархи ожидали Его сошествия во ад. С помощью Бога и твоей знаменитой артиллерии ты завоюешь не только Неаполь, Сицилию, но и земли великого Турка, обратишь неверных в христианство, проникнешь в недра Святой Земли, освободишь Иерусалим и Гроб Господень от нечестивых агарян и славным именем твоим наполнишь вселенную».

Горбатый плешивый старичок, с длинным красным носом, заглянул в дверь студиоло. герцог приветливо улыбнулся ему, приказывая знаком подождать. Дверь скромно притворилась, и голова исчезла. Секретарь завел было речь о другом государственном деле, но Моро слушал его рассеянно, поглядывая на дверь.

Мессер Бартоломео понял, что герцог занят посторонними мыслями, – кончил доклад и ушел.

Осторожно оглядываясь, на цыпочках, герцог приблизился к двери.

– Бернарде, а, Бернарде? Это ты? – Я, ваша светлость!

И придворный стихотворец, Бернарде Беллинчони, с таинственным и подобострастным видом, подскочил и хотел было встать на колени, чтобы поцеловать руку государя, но тот его удержал. – Ну, что, как? – Благополучно. – Родила?

– Сегодня ночью изволили разрешиться от бремени. – Здорова? Не послать ли врача? – В здравии совершенном обретаются. – Слава Богу! Герцог перекрестился. – Видел ребенка? – Как же! Прехорошенький. – Мальчик или девочка?

– Мальчик. Буян, крикун! Волосики светлые, как у матери, а глазенки так и горят, так и бегают – черные, умные, совсем как у вашей милости. Сейчас видно – Царственная кровь! Маленький Геркулес в колыбели. Мадонна Чечилия не нарадуется. Велели спросить, какое вам будет угодно имя.

– Я уже думал, – произнес герцог. – Знаешь, Бернарде, назовем-ка его Чезаре. Как тебе нравится?.

– Чезаре? А ведь в самом деле, прекрасное имя, благозвучное, древнее! Да, да, Чезаре Сфорца – имя, достойное героя! – А что, как муж?

– Яснейший граф Бергамини добр и мил как всегда. – Превосходный человек! – заметил герцог с убеждением.

– Превосходнейший! – подхватил Беллинчони. – Смею сказать, редких добродетелей человек! Таких людей нынче поискать. Ежели подагра не помешает, граф хотел приехать к жину, чтоб засвидетельствовать свое почтение вашей светлости.

Графиня Чечилия Бергамини, о которой шла речь, была давнею любовницей Моро. Беатриче, только что выйдя замуж и узнав об этой связи герцога, ревновала его, грозила вернуться в дом отца, феррарского герцога, Эрколе д'Эсте, и Моро вынужден был поклясться торжественно, в присутствии послов, не нарушать супружеской верности, в подтверждение чего выдал Чечилию за старого разорившегося графа Бергамини, человека покладистого, готового на всякие услуги.

Беллинчони, вынув из кармана бумажку, подал ее герцогу.

То был сонет в честь новорожденного – маленький диалог, в котором поэт спрашивал бога солнца, почему он закрывается тучами; солнце отвечало с придворною любезностью, что прячется от стыда и зависти к новому солнцу – сыну Моро и Чечилии.

Герцог благосклонно принял сонет, вынул из кошелька червонец и подал стихотворцу.

– Кстати, Бернарде, ты не забыл, что в субботу день рождения герцогини?

Беллинчони торопливо порылся в прорехе своего платья, полупридворного, полунипщенского, служившей ему карманом, извлек оттуда целую кипу грязных бумажек и, среди высокопарных од на смерть охотничьего сокола мадонны Анджелики, на болезнь серой в яблоках венгерской кобылы синьора Паллавичини, отыскал требуемые стихи.

– Целых три, ваша светлость, – на выбор. Клянусь Пегасом, довольны останетесь!

В те времена государи пользовались своими придворными поэтами, как музыкальными инструментами, чтобы петь серенады не только своим возлюбленным, но и своим женам, причем светская мода требовала, чтобы в этих стихах предполагалась между мужем и женой такая же неземная любовь, как между Лаурою и Петраркою.

Моро с любопытством просмотрел стихи: он считал себя тонким ценителем, поэтом в душе, хотя рифмы ему не давались. В первом сонете пришлось ему по вкусу три стиха; муж говорит жене:

И где на землю плюнешь ты,
Там вдруг рождаются цветы,
Как раннею весной – фиалки.

Во втором – поэт, сравнивая мадонну Беатриче с богиней Дианой, уверял, что кабаны и олени испытывают блаженство, умирая от руки такой прекрасной охотницы.

Но более всего понравился его высочеству третий сонет, в котором Данте обращался к Богу с просьбою отпустить его на землю, куда будто бы вернулась Беатриче в образе герцо-

гини Миланской. «О, Юпитер! – восклицал Алигьери, – так как ты опять подарил ее миру, позволь и мне быть с нею, дабы видеть того, кому Беатриче дарует блаженство», – то есть герцога Лодовико.

Моро милостиво потрепал поэта по плечу и обещал ему сукна на шубу, причем Бернарде сумел выпросить и лисьего меха на воротник, уверяя с жалобными и шутовскими ужимками, что старая шуба его сделалась такою сквозною и прозрачною, «как вермишель, которая сушится на солнце».

– Прошлую зиму, – продолжал он клянчить, – за недостатком Дров, я готов был сжечь не только собственную лестницу, но и деревянные башмаки св. Франциска! Герцог рассмеялся и обещал ему дров. Тогда, в порыве благодарности, поэт мгновенно сочинил и прочел хвалебное четверостишие:

Когда рабам своим ты обещаешь хлеб,
Небесную, как Бог, ты им даруешь манну, —
Зато все девять муз и сладкозвучный Феб,
О, благородный Мавр¹⁷, поют тебе осанну!

– Ты, кажется, в ударе, Бернарде? Послушай-ка, мне нужно еще одно стихотворение. – Любовное? – Да. И страстное. – Герцогине?

– Нет. Только смотри у меня, не проболтайся! – О, синьор, вы меня обижаете. Да разве я когда-нибудь?.. – Ну, то-то же. – Нет, нем, как рыба!

Бернарде таинственно и почтительно заморгал глазами.

– Страстное? Ну, а как? С мольбой или с благодарностью? – С мольбой.

Поэт глубокомысленно сдвинул брови: – Замужняя? – Девушка. – Так. Надо бы имя. – Ну вот! Зачем имя?

– Если с мольбою, то не годится без имени. – Мадонна Лукреция. А готового нет? – Есть, да лучше бы свеженькое. Позвольте в соседний покой на минутку. Уж чувствую, выйдет недурно: рифмы в голову так и лезут. Вошел паж и доложил: – Мессер Леонардо да Винчи.

Захватив перо и бумагу, Беллинчони юркнул в одну дверь, между тем как в другую входил Леонардо.

После первых приветствий герцог заговорил с художником о новом громадном канале, Навильо – Сфорцеско, который должен был соединить реку Сезию с Тичино и, разветвляясь в сеть меньших каналов, оросить луга, поля и пастбища Ломеллины.

Леонардо управлял работами по сооружению Навильо, хотя не имел чина герцогского строителя, ни даже придворного живописца, сохраняя, по старой памяти, за один давно уж изобретенный им музыкальный прибор, чин музыканта, что было немногим выше звания таких придворных поэтов, как Беллинчони.

Объяснив с точностью планы и счета, художник попросил сделать распоряжение о выдаче денег для дальнейших работ. – Сколько? – спросил герцог.

– За каждую милю по 566, всего 15 187 дукатов, – отвечал Леонардо.

Лодовико поморщился, вспомнив о 50 000, только что назначенных для взяток и подкупа французских вельмож. – Дорого, мессер Леонардо! Право же, ты разоряешь меня. Все хочешь невозможного. Ведь вот Браманте тоже строитель изрядный, а никогда таких денег не требует. Леонардо пожал плечами. – Воля ваша, синьор, поручите Браманте. – Ну, ну, не сердись. Ты знаешь, я тебя никому в обиду не дам! Начали торговаться.

¹⁷ Мавр (итал. Мого) – прозвище герцога Лодовико Сфорца.

– Хорошо, успеем завтра, – заключил герцог, стараясь, по своему обыкновению, затянуть решение дела, и начал перелистывать тетради Леонардо с неоконченными набросками, архитектурными чертежами и замыслами.

На одном рисунке изображена была исполинская гробница – целая искусственная гора, увенчанная многоколонным храмом с круглым отверстием в куполе, как в римском Пантеоне, чтобы озарять внутренние покои усыпальницы, превосходившей великолепием египетские пирамиды. Рядом были точные цифры и подробный план расположения лестниц, ходов, зал, рассчитанных на пятьсот могильных урн.

– Что это? – спросил герцог. – Когда и для кого ты задумал?

– Так, ни для кого. Мечты...

Моро с удивлением посмотрел на него и покачал головой.

– Странные мечты! Мавзолей для олимпийских богов или титанов. Точно во сне или в сказке... А ведь еще математик!

Он заглянул в другой рисунок, план города с двухъярусными улицами – верхними для господ, нижними для рабов, выючных животных и нечистот, омываемых водой множества труб и каналов, – города, построенного согласно с точным знанием законов природы, но для таких существ, у которых совесть не смущается неравенством, разделением на избранных и отверженных.

– А ведь недурно! – молвил герцог. – И ты полагаешь, можно устроить?

– О, да! – отвечал Леонардо, и лицо его оживилось. – Я давно мечтаю о том, чтобы когда-нибудь вашей светлости угодно было сделать опыт, хотя бы только с одним из предместий Милана. Пять тысяч домов – на тридцать тысяч жителей. И рассеялось бы это множество людей, которые сидят друг у друга на плечах, теснятся в грязи, в духоте, распространяя семена заразы и смерти. Если бы вы исполнили мой план, синьор, это был бы прекраснейший город в мире!.. Художник остановился, заметив, что герцог смеется.

– Чудак ты, забавник, мессер Леонардо! Кажется, дай тебе волю, все бы вверх дном повернул, каких бы только в государстве бед не наделал! Неужели ты не видишь, что самые покорные из рабов взбунтовались бы против твоих двухъярусных улиц, плюнули бы на хваленую чистоту твою, на водосточные трубы и каналы прекраснейшего города в мире, – в старые города свои убежали бы: в грязи, мол, в тесноте, да не в обиде.

– Ну, а здесь что? – спросил он, указывая на другой чертеж.

Леонардо вынужден был объяснить и этот рисунок, оказавшийся планом дома терпимости. Отдельные комнаты, двери и ходы расположены были так, что посетители могли рассчитывать на тайну, не опасаясь встречи друг с другом.

– Вот это дело! – восхитился герцог. – Право, ты не поверишь, как надоели мне жалобы на грабежи и убийства в притонах. А при таком расположении комнат будет порядок и безопасность. Непременно устрою дом по твоему чертежу!

– Однако, – прибавил он, усмехаясь, – ты у меня, я вижу, на все руки мастер, ничем не брезгаешь: мавзолей для богов рядом с домом терпимости!

– Кстати, – продолжал он, – читал я однажды в книге какого-то древнего историка о так называемом ухе тирана Дионисия – слуховой трубе, скрытой в толще стен и устроенной так, что государь может слышать из одного покоя все, что говорят в другом. Как ты полагаешь, нельзя ли устроить ухо Дионисия в моем дворце?

Герцогу сначала было немного совестно; но он тотчас оправился, почувствовал, что художника нечего стыдиться. Не смущаясь, даже не помышляя о том, хорошо или дурно Дионисиево ухо, Леонардо беседовал о нем, как о новом научном приборе, радуясь предложению исследовать при устройстве этих труб законы движения звуковых волн. Беллинчони с готовым сонетом заглянул в дверь. Леонардо простился. Моро пригласил его к ужину. Когда художник ушел, герцог подозвал поэта и велел читать стихи.

– Саламандра, – говорилось в сонете, – живет в огне, но не большее ли диво то, что в пламенном сердце моем

Холодная, как лед, мадонна обитает,
И лед сей девственный в огне любви не тает?

Особенно нежными показались герцогу последние четыре стиха:

Я лебедем пою, пою и умираю;
Амура я молю: о сжался, я стораю!
Но раздувает бог огонь моей души
И говорит, смеясь: слезами потуши!

Перед ужином, в ожидании супруги, которая должна была скоро вернуться с охоты, герцог пошел по хозяйству. Заглянул в конюшню, подобную греческому храму, с колоннадами и портиками; в новую великолепную сыроварню, где отведал джюнкаты – свежего творожного сыру. Мимо бесконечных сеновалов и погребов прошел на мызу и скотный двор. Здесь каждая подробность радовала сердце хозяина: и звук молочной струи, цедившейся из вымени его любимицы, красно-пегой лангедокской коровы, и материнское хрюканье огромной, подобной горе жира, свиньи, только что опоросившейся, и желтая сливочная пена в ясеневых кадках маслобойни, и медовый запах в переполненных житницах.

На лице Моро появилась улыбка тихого счастья: воистину дом его был, как полная чаша. Он вернулся во дворец и присел отдохнуть в галерее.

Вечерело. Но до заката было еще далеко. С поемных лугов Тичино веяло пряною свежестью.

Герцог окинул взором свои владения: пастбища, нивы, поля, орошаемые сетью каналов и рвов, с правильными насаждениями яблонь, груш, шелковичных деревьев, соединенных висячими гирляндами лоз. От Мортары до Абиатеграссо и далее, до самого края неба, где в тумане белели снега Монте Розы, – великая равнина Ломбардии цвела, как Божий рай.

– Господи, – вздохнул он с умилением и поднял глаза к небу, – благодарю Тебя за все! Чего еще надо? Некогда здесь была пустыня. Я с Леонардо провел эти каналы, оросил эту землю, и ныне каждый колос, каждая былинка благодарит меня, как я благодарю тебя, Господи!

Послышался лай борзых, крики охотников, и над кустами лозняка замелькало красное вабило – чучело с крыльями куропатки для приманки соколов.

Хозяин с главным дворецким обошел накрытый стол, осматривая, все ли в порядке. В залу вошли герцогиня и гости, приглашенные к ужину, среди которых был Леонардо, оставшийся ночевать на вилле.

Прочли молитву и сели за стол.

Подали свежие артишоки, присланные в плетенках ускоренной почтой прямо из Генуи, жирных угрей и карпов мантуанских садков, подарок Изабеллы д'Эсте, и студень из каплуновых грудинок.

Ели тремя пальцами и ножами, без вилок, считавшихся непозволительной роскошью; золотые, с черенками из горного хрусталя, подавались они только дамам для ягод и варенья.

Хлебосольный хозяин усердно потчевал. Ели и пили много, почти до отвала. Изящнейшие дамы и девицы не стыдились голода.

Беатриче сидела рядом с Лукрецией.

Герцог опять залюбовался на обеих: ему было приятно, что они вместе и что жена ухаживает за его возлюбленной, подкладывает ей на тарелку лакомые куски, что-то шепчет на

ухо и пожимает руку с порывом той внезапной нежности, похожей на влюбленность, которая иногда овладевает молодыми женщинами.

Говорили об охоте. Беатриче рассказала, как олень едва не выбил ее из седла, выскочив из леса и ударив лошадь рогами.

Смеялись над дурачком Диодом, хвастуном и забиякою, который только что убил вместо кабана домашнюю свинью, нарочно взятую охотниками в лес и пущенную под ноги шуту. Диода рассказывал о своем подвиге и гордился им так, как будто убил Калидонского вепря. Его дразнили и, чтобы уличить в хвастовстве, принесли тушу убитой свиньи. Он притворился взбешенным. На самом деле это был прехитрый плут, игравший выгодную роль дурака: своими рысьими глазами сумел бы он отличить не только домашнюю от дикой свиньи, но и глупую шутку от умной.

Хохот становился все громче. Лица оживлялись и краснели от обильных возлияний. После четвертого блюда молоденькие дамы украдкой, под столом, распустили туго стянутые шнуры.

Кравчие разносили легкое белое вино и красное, кипрское, густое, подогретое, заправленное фисташками, корицею и гвоздиком.

Когда его высочество требовал вина, стольники торжественно перекликались, как бы священнодействуя, брали кубок с поставца, и главный сенешаль трижды опускал в чашу единороговый талисман на золотой цепи: если вино отравлено, рог должен почернеть и ороситься кровью. Такие же предохранительные талисманы – жабный камень и змеиный язык – вставлены были в солонку.

Граф Бергамини, муж Чечилии, усаженный хозяином на почетное место, особенно веселый в этот вечер, даже как бы резвый, несмотря на свою старость и подагру, молвил, указывая на единорог:

– Полагаю, ваша светлость, что у самого короля французского нет такого рога. Величина изумительная!

– Ки-хи-ки! Ки-хи-ки! – закричал горбун Янаки, любимый шут герцога, гремя трещоткой – свиным пузырем, наполненным горохом, и позвякивая бубенчиками пестрого колпака с ослиными ушами.

– Батя, а, батя, – обратился он к Моро, указывая на графа Бергамини, – ты ему верь: он во всяких рогах толк понимает, не только в звериных, но и в человеческих. Ки-хи-ки, ки-хи-ки! У кого коза, у того рога! Герцог пальцем погрозил шуту.

На хорах грянули серебряные трубы, приветствуя жаркое – громадную кабанью голову, начиненную каштанами, павлина с особою машинкою внутри, распускавшего на блюде хвост и бывшего крыльями, и, наконец, величественный торт, в виде крепости, из которого сначала послышались звуки военного рога, а когда разрезали поджаристую корку, выскочил карлик в перьях попугая. Он забегал по столу, его поймали и посадили в золотую клетку, где, подражая знаменитому попугаю кардинала Асканио Сфорца, он стал уморительно выкрикивать «Отче наш».

– Мессере, – обратилась герцогиня к мужу, – какому радостному событию обязаны мы столь неожиданным и великолепным пиршеством?

Моро ничего не ответил, только украдкой любезно переглянулся с графом Бергамини: счастливый муж Чечилии понял, что пиршество устроено в честь новорожденного Цезаре.

Над кабаньей головой просидели без малого час; времени на еду не жалели, памятуя пословицу: за столом не состаришься.

Под конец ужина толстый монах, по имени Таппоне-Крыса, возбудил всеобщее веселье.

Не без хитростей и обманов удалось Миланскому герцогу переманить из Урбино этого знаменитого обжору, из-за которого спорили государи и который будто бы однажды в Риме,

к немалому удовольствию его святейшества, сожрал целую треть камлотового епископского подрясника, изрезанную на куски и пропитанную соусом.

По знаку герцога поставили перед фра Таппоне гробовидный сотейник с бузеккио – требуюю, начиненною яблоками айвы. Перекрестившись и засучив рукава, монах принялся упивать жирную снедь с быстротой и жадностью неимоверною.

– Если бы такой молодец присутствовал при насыщении народа пятью хлебами и двумя рыбами, остатков не хватило бы и на двух собак! – воскликнул Беллинчони.

Гости захохотали. Все эти люди заражены были смехом, который от каждой шутки, как от искры, готов был разразиться оглушительным взрывом.

Только лицо одинокого и молчаливого Леонардо сохраняло выражение покорной скуки: он, впрочем, давно привык к забавам своих покровителей.

Когда на серебряных блюдах подали золоченые апельсины, наполненные душистой мальвазией, придворный поэт Антонио Камелли да Пистойя, соперник Беллинчони, прочел оду, в которой искусства и науки говорили герцогу: «мы были рабынями, ты пришел и освободил нас; да здравствует Моро!» Четыре стихии – земля, вода, огонь и воздух – пели: «да здравствует тот, кто первый после Бога правит рулем вселенной, колесом фортуны!» Прославлялись также семейная любовь и согласие между дядей Моро и племянником Джан-Галеаццо, причем поэт сравнивал великодушного опекуна с пеликаном, кормящим детей своей собственной плотью и кровью.

После ужина хозяева и гости перешли в сад, называвшийся Раем – Парадизо, правильный, наподобие геометрического чертежа, с подстриженными аллеями буксов, лавров и мирт, с крытыми ходами, лабиринтами, лоджиями и плющевыми беседками. На зеленый луг, обвеваемый свежестью фонтана, принесли ковры и шелковые подушки. Дамы и кавалеры расположились в непринужденной свободе перед маленьким домашним театром.

Сыграли одно действие «Miles Gloriosus»¹⁸. Латинские стихи наводили скуку, хотя слушатели из суеверного почтения к древности притворялись внимательными. Когда представление кончилось, молодые люди отправились на более просторный луг играть в мяч, лапту, жмурки, бегая, лоя друг друга, смеясь как дети, между кустами цветущих роз и апельсиновыми деревьями. Старшие играли в кости, в тавлею, в шахматы. Донзеллы, дамы и синьоры, не принимавшие участия в играх, собравшись в тесный круг на мраморных ступенях фонтана, рассказывали по очереди новеллы, как в «Декамероне» Боккаччо.

На соседней лужайке завели хоровод под любимую песню рано умершего Лоренцо Медичи:

Quant'e bella giovinezza,
Ma si fugge tuttavia;
Chi vuol esse' lieto, sia:
Di donna' non c'e' certezza.¹⁹

После пляски дондзелла Диана с бледным и нежным лицом, под тихие звуки виолы, запела унылую жалобу, в которой говорилось о том, сколь великое горе любить, не будучи любимым.

Игры и смех прекратились. Все слушали в глубокой задумчивости. И когда она кончила, долго никто не хотел прерывать тишины. Только фонтан журчал. Последние лучи солнца облили розовым светом черные плоские вершины пиний и высоко взлетающие брызги фонтана.

¹⁸ Плавта. «Хвастливый воин» (лат.)

¹⁹ О, как молодость прекрасна, Но мгновенна! Пой же, смейся, — Счастлив будь, кто счастья хочет, И на завтра не надейся.

Потом опять начались говор, хохот, музыка, и до позднего вечера, пока в темных лаврах не загорелись лучиолысветляки и в темном небе тонкий серп молодого месяца, – над блаженным Парадизо, в бездыханном сумраке, пропитанном запахом апельсиновых цветов, не умолкали звуки хороводной песни:

Счастлив будь, кто счастья хочет,
И на завтра не надейся.

На одной из четырех башен дворца Моро увидел огонек: главный придворный звездочет Миланского герцога, сенатор и член тайного совета, мессер Амброджо да Розате, засветил одинокую лампаду над своими астрономическими приборами, наблюдая предстоявшее в знаке Водолея соединение Марса, Юпитера и Сатурна, которое должно было иметь великое значение для дома Сфорца.

Герцог что-то вспомнил, простился с мадонной Лукрецией, с которой занят был нежным разговором в уютной беседке, вернулся во дворец, посмотрел на часы, дождался минуты и секунды, назначенной астрологом для приема ревенных пилюль, и, проглотив лекарство, заглянул в свой карманный календарь, в котором прочел следующую памятку: «5 августа, 10 часов вечера, 8 минут – усерднейшая молитва на коленях, со сложенными руками и взорами, поднятыми к небу».

Герцог поспешил в часовню, чтобы не пропустить мгновения, так как иначе астрологическая молитва утратила бы действие.

В полутемной часовне горела лампада перед образом; герцог любил эту икону, писанную Леонардо да Винчи, изображавшую Чечилию Бергамини под видом Мадонны, благословляющей столитвенную розу.

Моро отсчитал восемь минут по маленьким песочным часам, опустил на колени, сложил руки и прочел «Confiteor».²⁰ Молился он долго и сладко.

«О, Мать Божия, – шептал, подняв умиленные взоры, – защити, спаси и помилуй меня, сына моего Максимилиана и новорожденного младенца Чезаре, мою супругу Беатриче и мадонну Чечилию, – а также моего племянника мессера Джан-Галеаццо, ибо, – ты видишь сердце мое, Дева Пречистая, – я не хочу зла моему племяннику, я молюсь за него, хотя, быть может, смерть его избавила бы не только мое государство, но и всю Италию от страшных и непоправимых бедствий».

Тут вспомнил он доказательство своего права на миланский престол, изобретенное законоведами; будто бы старший брат его, отец Джан-Галеаццо, был сыном не герцога, а только военачальника Франческо Сфорца, ибо родился прежде, чем Франческо вступил на престол, тогда как он, Лодовико, родился уже после того и, следовательно, был единственным полноправным наследником.

Но теперь, перед лицом Мадонны, это доказательство представилось ему сомнительным, и он заключил молитву свою так:

– Если же я в чем-нибудь согрешил или согрешу пред Тобой, Ты знаешь. Царица Небесная, что я это делаю не для себя, а для блага моего государства, для блага всей Италии. Будь же заступницей моей перед Богом – и я прославлю имя Твое великолепной постройкой собора Миланского и Чертозы Павийской, и другими многими деяниями!

Окончив молитву, взял свечу и направился в спальную по темным покоем спящего дворца. В одном из них встретился с Лукрецией.

– Сам бог любви благоприятствует мне, – подумал герцог.

²⁰ «Каюсь» (лат.)

– Государь!.. – воскликнула девушка, подходя к нему. Но голос ее оборвался. Она хотела упасть перед ним на колени; он едва успел удержать ее. – Смилуйся, государь!..

Она рассказала ему, что брат ее, Маттео Кривелли, главный камерарий монетного двора, человек беспутный, но нежно ею любимый, проиграл в карты большие казенные деньги.

– Успокойтесь, мадонна! Я выручу из беды вашего брата...

Немного помолчав, прибавил с тяжелым вздохом: – Но согласитесь ли и вы не быть жестокой?.. Она посмотрела на него робкими, детски-ясными и невинными глазами. – Я не понимаю, синьор?..

Целомудренное удивление сделало ее еще прекраснее. – Это значит, милая, – пролепетал он страстно и вдруг обнял ее стан сильным, почти грубым движением, – это значит... Да разве Ты не видишь, Лукреция, что я люблю тебя?..

– Пустите, пустите! О, синьор, что вы делаете! Мадонна Беатриче...

– Не бойся, она не узнает: я умею хранить тайну... – Нет, нет, государь, – она так великодушна, так добра ко мне... Ради бога, оставьте, оставьте меня!..

– Я спасу твоего брата, сделаю все, что ты хочешь, буду рабом твоим, – только сжался!..

И наполовину искренние слезы задрожали в голосе его, когда он зашептал стихи Беллинчони:

Я лебедем пою, пою и умираю,
Амура я молю: о, сжался, я сгораю!
Но раздувает бог огонь моей души
И говорит, смеясь: слезами потуши!

– Пустите, пустите! – повторяла девушка с отчаянием. Он наклонился к ней, почувствовал свежесть ее дыхания, запах духов-фиалок с мускусом – и жадно поцеловал ее в губы.

На одно мгновение Лукреция замерла в его объятиях. Потом вскрикнула, вырвалась и убежала.

Войдя в спальную, он увидел, что Беатриче уже погасила огонь и легла в постель – громадное, подобно мавзолею, ложе, стоявшее на возвышении посреди комнаты под шелковым лазурным пологом и серебряными завесами. Он разделся, приподнял край пышного, как церковная риза, тканного золотом и жемчугом, одеяла, свадебного подарка феррарского герцога, – и лег на свое место, рядом с женой. – Биче, – произнес он ласковым шепотом, – Биче, ты спишь?

Он хотел ее обнять, но она оттолкнула его. – За что? – Оставьте! Я хочу спать...

– За что, скажи только, за что? Биче, дорогая! Если бы ты знала, как я люблю...

– Да, да, знаю, что вы нас любите всех вместе, и меня, и Цецилию, и даже, чего доброго, эту рабыню из Московии, рыжеволосую дуру, которую намерен обнимали в углу моего гардероба... – Я ведь только в шутку... – Благодарю за такие шутки!..

– Право же. Биче, последние дни ты со мной так холодна, так сурова! Конечно, я виноват, сознаюсь: это была недостойная прихоть... – Прихотей у вас много, мессере! Она повернулась к нему со злобою:

– И как тебе не стыдно! Ну, зачем, зачем ты лжешь? Разве я не знаю тебя, не вижу насквозь? Пожалуйста, не думай, что я ревную. Но я не хочу, – слышишь? – я не хочу быть одной из твоих любовниц!..

– Неправда, Биче, клянусь тебе спасением души моей-никогда никого на земле я так не любил, как тебя!

Она умолкла, с удивлением прислушиваясь не к словам, а к звуку его голоса.

Он, в самом деле, не лгал или, по крайней мере, не совсем лгал: чем больше он ее обманывал, тем больше любил; нежность его как будто разгоралась от стыда, от страха, от угрызения, от жалости и раскаяния.

– Прости, Биче, прости все за то, что я тебя так люблю!.. И они помирились.

Обнимая и не видя ее в темноте, он воображал себе робкие, невинные глаза, запах фиалок с мускусом; воображал, что обнимает другую, и любил обеих вместе: это было преступно и упоительно.

– А, ведь, в самом деле, ты сегодня, точно влюбленный, – прошептала она, уже с тайною гордостью.

– Да, Да. милая, веришь ли, я все еще влюблен в тебя, как в первые дни!..

– Что за вздор! – усмехнулась она. – Как тебе не совестно? Лучше бы подумал о деле; ведь он выздоравливает...

– Луиджи Марлиани намеренно сказывал мне, что умрет, – произнес герцог. – Ему теперь лучше, но это ненадолго: он умрет, наверное.

– Кто знает? – возразила Беатриче. – За ним так ухаживают... Послушай, Моро, я удивляюсь твоей беззаботности: ты переносишь обиды, как овца, ты говоришь: власть в наших руках. Да не лучше ли вовсе отречься от власти, чем дрожать за нее день и ночь, как ворам, пресмыкаться перед этим ублюдком, королем французским, зависеть от великодушия наглеца Альфонсо, заискивать в злой ведьме Арагонской! Говорят, она опять беременна. Новый змееныш в проклятое гнездо! И так всю жизнь, Моро, подумай только, всю жизнь! И ты называешь это: власть в наших руках!..

– Но врачи согласны, – молвил герцог, – что болезнь неисцелима: рано или поздно...

– Да, жди: вот уже десять лет, как он умирает! Они замолчали.

Вдруг она обвила его руками, прижалась к нему всем телом и что-то прошептала ему на ухо. Он вздрогнул.

– Биче!.. Да сохранит тебя Христос и Матерь Пречистая! Никогда – слышишь? – никогда не говори мне об этом...

– Если боишься, – хочешь, я сама?.. Он не ответил и, немного погодя, спросил: – О чем ты думаешь? – О персиках...

– Да. Я велел садовнику послать ему в подарок самых спелых...

– Нет, не о том. Я о персиках мессера Леонардо да Винчи. Ты разве не слышал? – А что? – Они – ядовитые... – Как ядовитые?

– Так. Он отравляет их. Для каких-то опытов. Может быть, колдовство. Мне мона Сидония сказывала. Персики, хоть и отравленные, – красоты удивительной...

Опять оба умолкли и долго лежали так, обнявшись, в тишине, во мраке, думая об одном и том же, каждый прислушиваясь, как сердце у другого бьется все чаще и чаще.

Наконец Моро с отеческою нежностью поцеловал ее в лоб и перекрестил: – Спи, милая, спи с Богом!

В ту ночь герцогиня видела во сне прекрасные персики на золотом блюде. Она соблазнилась их красотой, взяла один из них и отведала, – он был сочный и душистый. Вдруг чей-то голос прошептал: «яд, яд, яд!» Она испугалась, но уже не могла остановиться, продолжала есть плоды один за другим, и ей казалось, что она умирает, но на сердце у нее становилось все легче, все радостнее.

Герцогу тоже приснился странный сон: будто бы гуляет он по зеленой лужайке у фонтана в Парадизо и видит – вдалеке, в одинаковых белых одеждах, три женщины сидят, обнявшись, как сестры. Подходит к ним и узнает в одной мадонну Беатриче, в другой мадонну Лукрецию, в третьей мадонну Чечилию; и думает с глубоким успокоением: «Ну, слава Богу, наконец-то помирились – и давно бы так!»

Башенные часы пробили полночь. Все в доме спали. Только на высоте, над крышею, на деревянных подмостках для золочения волос, сидела карлица Моргантина, убежавшая из чулана, куда ее заперли, и плакала о своем несуществующем ребенке;

– Отняли родненького, убили деточку! И за что, за что. Господи? Никому не делал он зла. Я им тихо утешалась...

Ночь была ясная; воздух так прозрачен, что можно было различить на краю небес, подобные вечным кристаллам ледяные вершины Монте Роза.

И долго уснувшая вилла оглашалась пронзительным, жалобным воплем полоумной карлицы, словно криком зловещей птицы.

Вдруг она вздохнула, подняла голову, посмотрела в небо и сразу умолкла.

Наступила тишина.

Карлица улыбалась, и голубые звезды мерцали такие же непонятные и невинные, как ее глаза.

Четвертая книга Шабаш ведьм

На пустынной окраине Милана, в предместьи Верчельских ворот, там, где на канале Катарана находилась плотина и речная таможня, стоял одинокий ветхий домик с большою, закоптелою и покривившейся трубой, из которой днем и ночью подымался дым.

Домик принадлежал повивальной бабке, моне Сидонии. Верхние покои сдавала она в наем алхимику, мессеру Галеотто Сакробоско; в нижних – жила сама вместе с Кассандрой, дочерью Галеоттова брата, купца Луиджи, знаменитого путешественника, изъездившего Грецию, острова Архипелага, Сирию, Малую Азию, Египет в неустанной погоне за древностями.

Он собирал все, что попадалось под руку: прекрасную статую и кусочек янтаря с мухою, застывшею в нем, и поддельную надпись с могилы Гомера, и подлинную трагедию Эврипида, и ключицу Демосфена.

Одни считали его помешанным, другие – хвастуном и обманщиком, третьи – великим человеком. Воображение его было так напитано язычеством, что, оставаясь до конца дней добрым христианином, Луиджи не на шутку молился «святейшему гению Меркурию» и верил в среду, посвященную крылатому вестнику олимпийцев, как в день особенно счастливый для торговых оборотов. Ни перед какими лишениями и трудами не останавливался он в своих поисках: однажды, сев на корабль и уже отъехав по морю с десятков миль, узнал о любопытной греческой надписи, не прочитанной им, и тотчас вернулся на берег, чтобы списать. Потеряв во время кораблекрушения драгоценное собрание рукописей, поседел от горя. Когда спрашивали его, зачем он разоряет себя, терпит всю жизнь столь великие труды и опасности, отвечал всегда одними и теми же словами: – Я хочу воскресить мертвых. В Пелопоннесс, близ пустынных развалин Лакедемона, в окрестностях городка Мистры, встретил девушку, похожую на изваяние древней богини Артемиды, дочь бедного, пившего запоем, сельского дьякона, женился на ней и увез ее в Италию, вместе с новым списком Илиады, обломками мраморной Гекаты и черепками глиняных амфор. Дочери, родившейся у них, Луиджи дал имя Кассандры во славу великой Эсхиловой героини, пленницы Агамемнона, которой он тогда увлекался.

Жена его скоро умерла. Отправляясь в одно из своих многочисленных странствований, оставил он маленькую дочь-сиротку на попечение старому другу, ученому греку, из Коистантинополя, приглашенному в Милан герцогами Сфорца, философу Деметрию Халкондиле.

Семидесятилетний старик, двуличный, лукавый и скрытный, притворяясь пламенным ревнителем церкви христианской, на самом деле, как многие ученые греки в Италии с кардиналом Вессарионом во главе, был приверженцем последнего из учителей древней мудрости, неоплатоника Гемиста Плетена, умершего лет сорок назад в Пелопоннесе, в том самом городе Мистре на развалинах Лакедемона, откуда родом была мать Кассандры. Ученики его верили, что душа великого Платона для проповедования мудрости сошла на землю с Олимпа и воплотилась в Плетоне. Христианские учителя утверждали, что этот философ желает возобновить антихристову ересь императора Юлиана Отступника – поклонение древним олимпийским богам, и что бороться с ним должно отнюдь не учеными доводами и словопрениями, а священный инквизицией и пламенем костров. Приводились точные слова Плетена; за три года до смерти говорил он будто бы ученикам своим: «Немного лет спустя после кончины моей, надо всеми племенами и народами земными воссияет единая истина, и все люди обратятся единым духом в единую веру – unam eandemque religionem universum orbem esse suscepturum».

Когда же его спрашивали; «в какую – в Христову или Магометову?» – он отвечал: «neutram, sed a gentiltate non differentem».²¹

В доме Деметрия Халкондилы маленькую Кассандру воспитали в строгом, хотя и лицемерном, благочестии. Но из подслушанных разговоров ребенок, не понимая философских тонкостей платоновых идей, сплетал себе волшебную сказку о том, как умершие боги Олимпа воскреснут.

Девочка носила на груди подарок отца, талисман от лихорадки, резную печать с изображением бога Диониса. Порой, оставаясь одна, украдкой вынимала она древний камень, смотрела сквозь него на солнце – и в темно-лиловом сиянии прозрачного аметиста выступал перед нею, как видение, обнаженный юноша Вакх с тирсом в одной руке, с виноградной кистью в другой; скачущий барс хотел лизнуть эту кисть языком. И любовью к прекрасному богу полно было сердце ребенка.

Мессер Луиджи, разорившись на древности, умер в нищете, в лачуге пастуха, от гнилой горячки, среди только что открытых им развалин финикийского храма. В это время, после многолетних скитаний в погоне за тайною философского камня, вернулся в Милан алхимик Галеотто Сакробоско, дядя Кассандры, и, поселившись в домике у Верчельских ворот, взял к себе племянницу.

Джованни Бельтраффио помнил подслушанный им разговор моны Кассандры с механиком Зороастро о ядовитом дереве. Потом встречался с нею у Деметрия Халкондилы, где Мерула достал ему переписку. Он слышал от многих, что она – ведьма. Но загадочная прелесть молодой девушки влекла его к ней.

Почти каждый вечер, окончив работу в мастерской Леонардо, отправлялся Джованни к уединенному домику за Верчельскими воротами для свидания с Кассандрой. Они садились на пригорке над водой тихого и темного канала, недалеко от запруды, у полуразвалившейся стены монастыря св. Редегонды, и беседовали подолгу. Чуть видная тропа, заросшая лопухом, бузиной и крапивою, вела на пригорок. Никто сюда не заглядывал.

Был душный вечер. Изредка налетал вихрь, подымал белую пыль на дороге, шелестел в дерьвьях, замирал – и становилось еще тише. Только слышалось глухое, точно подземное, ворчание далекого грома. На этом грозно-торжественном гуле выделялись визгливые звуки дребезжащей лютни, пьяных песен таможенных солдат в соседнем кабаке: было воскресенье.

Порою бледная зарница вспыхивала на небе, и тогда на мгновение выступал из мрака ветхий домик на том берегу, с кирпичною трубою, с клубами черного дыма, валившего из плавильной печи алхимика, долговязый, худощавый пономарь с удочкой на мшистой плотине, прямой ка иал с двумя рядами лиственниц и ветл, уходившими вдаль, плоскодонные лагомаджорские барки с глыбами белого мрамора для собора, шедшие на ободранных клячах, и длинная бичева, ударявшая по воде; потом опять сразу все, как видение, исчезало во тьме. Лишь на том берегу краснел огонек алхимика, отражаясь в темных водах Катараны. От запруды веяло запахом теплой воды, увядших папоротников, дегтя и гнилого дерева. Джованни с Кассандрой сидели на обычном месте, над каналом.

– Скучно! – молвила девушка, потянувшись и заломила над головой тонкие белые пальцы. – Каждый день одно и то же. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня; так же глупый, долговязый пономарь удит рыбу на плотине и ничего не может выудить, так же дым валит из трубы лаборатории, где мессер Галеотто ищет золота и ничего не может найти, так же лодки тащатся на ободранных клячах, так же дребезжит заунывная лютня в кабаке. Хоть бы что-нибудь новое! Хоть бы французы пришли и разорили Милан, или пономарь выудил рыбу, или дядя нашел золото... Боже мой, какая скука!

²¹ Ни в ту, ни в другую, но в веру от древнего язычества не отличную.

– Да, я знаю, – возразил Джованни, – мне самому иногда бывает так скучно, что хочется умереть. Но фра Бенедетто научил меня прекрасной молитве об избавлении от беса уныния. Хотите, я вам скажу ее? Девушка покачала головой:

– Нет, Джованни. Я бы и желала порою, но давно уже не умею молиться вашему Богу.

– Нашему? Но разве есть другой Бог, кроме нашего, кроме единого?..

Быстрое пламя зарницы осветило лицо ее: никогда еще оно не казалось ему таким загадочным, унылым и прекрасным.

Она помолчала и провела рукою по черным пушистым волосам.

– Слушай, друг. Это было давно, там, в родной земле моей. Я была ребенком. Однажды отец взял меня с собою в путешествие. Мы посетили развалины древнего храма. Они возвышались на мысе. Кругом было море. Чайки стонали. Волны с шумом разбивались о черные камни, изглоданные соленую влагою, заостренные как иглы. Пена взлетала и падала, стекая по иглам камней шипящей струей. Отец мой читал полустертую надпись на обломке мрамора. Я долго сидела одна на ступенях перед храмом, слушала море и дышала свежестью, смешанной с горьким благоуханием полыни. Потом вошла в покинутый храм. Колонны из пожелтевшего мрамора стояли, почти не тронутые временем, и между ними синее небо казалось темным; там, в высоте, из расщелин камней, росли маки. Было тихо. Только заглушенный гул прибоя наполнял святилище как бы молитвенным пением. Я прислушалась к нему – и вдруг сердце мое дрогнуло. Я упала на колени и стала молиться некогда здесь обитавшему богу, неизвестному и поруганному. Я целовала мраморные плиты, плакала и любила его за то, что больше никто на земле не любит его и не молится ему – за то, что он умер. С тех пор я больше никому никогда уж так не молилась. То был храм Диониса.

– Что вы, что вы, Кассандра! – проговорил Джованни. – Это грех и кощунство! Никакого бога Диониса нет и не было...

– Не было? – повторила девушка с презрительной улыбкой. – А как же святые отцы, которым ты веришь, учат, что изгнанные боги в те времена, как Христос победил, превратились в могущественных демонов? Как же в книге знаменитого астролога Джордже да Новара есть прорицание, основанное на точных наблюдениях над светилами небесными: соединение планеты Юпитера с Сатурном породило учение Моисеево, с Марсом – халдейское, с солнцем – египетское, с Венерой – Магометово, с Меркурием – Христово, а грядущее соединение с Луной должно породить учение Антихристово, – и тогда умершие боги воскреснут!

Раздался гул приближающегося грома. Зарницы вспыхивали все ярче, озаряя громадную тяжелую тучу, которая ползла медленно. Назойливые звуки лютни по-прежнему дребезжали в душевной, грозной тишине.

– О, Кассандра! – воскликнул Бельтраффио, складывая руки с горестной мольбой. – Как же вы не видите – это дьявол искушает вас, чтобы вовлечь в погибель. Будь он проклят, окаянный!..

Девушка быстро обернулась, положила ему обе руки на плечи и прошептала:

– А тебя он разве никогда не искушает? Если ты такой праведный, Джованни, то зачем ушел от учителя своего фра Бенедетто, зачем поступил в мастерскую безбожника Леонардо да Винчи? Зачем ходишь сюда, ко мне? Или ты не знаешь, что я ведьма, а ведьмы – злые, злее самого дьявола? Как же ты не боишься погубить со мной душу свою?.. – С нами сила Господня!.. – пролепетал он, вздрогнув.

Она молча приблизилась к нему, вперила в него глаза желтые и прозрачные, как янтарь. Уже не зарница, а молния разрешила тучу и осветила лицо ее, бледное, как лицо той мраморной богини, которая некогда на Мельничном Холме вышла перед Джованни из тысячелетней могилы. – Она! – подумал он с ужасом. – Белая Дьяволица! Он сделал усилие, чтобы вскочить, и не мог; чувствовал на щеке своей горячее дыхание и прислушивался к шепоту: – Хочешь, я скажу тебе все, все до конца, Джованни? Хочешь, милый, полетим со мной туда, где он?

Там хорошо, там не скучно. И ничего не стыдно, как во сне, как в раю – там все позволено! Хочешь туда?..

Холодный пот выступил на лбу его; но с любопытством, которое преодолевало ужас, он спросил: – Куда?..

Почти касаясь его щеки губами, она ответила чуть слышно, как будто вздохнула страстно и томно: – На шабаш!

Удар уже близкого грома, потрясая небо и землю, загрохотал торжественным полным грозного веселья, подобным смеху невидимых подземных великанов, и медленно замер в бездыханной тишине.

Ни один лист не шелохнулся на деревьях. Звуки дребезжащей лютни оборвались.

И в то же мгновение раздался унылый, мерный звон монастырского колокола, вечерний «Angelus». ²² Джованни перекрестился. Девушка встала и молвила: – Пора домой. Поздно. Видишь, факелы? Это герцог Моро едет к мессеру Галеотто. Я и забыла, что сегодня дядя должен показывать опыт – превращение свинца в золото.

Послышался топот копыт. Всадники вдоль канала от Верчельских ворот направлялись к дому алхимика, который, в ожидании герцога, кончал в лаборатории последние приготовления для предстоящего опыта.

Мессер Галеотто всю жизнь провел в поисках философского камня.

Окончив медицинский факультет Болонского университета, поступил учеником – фамулусом к знаменитому в те времена адепту сокровенных знаний, графу Бернарде Тревизано. Потом, в течение пятнадцати лет, искал превращающего Меркурия во всевозможных веществах – в поваренной соли и нашатыре, в различных металлах, самородном висмуте и мышьяке, в человеческой крови, желчи и волосах, в животных и растениях. Шесть тысяч дукатов отцовского наследия вылетели в трубу плавильной печи. Истратив собственные деньги, принялся за чужие. Заимодавцы посадили его в тюрьму. Он бежал и в течение следующих восьми лет делал опыты над яйцами, извел 20 000 штук. Затем работал с папским протонотарием, маэстро Генрико, над купоросами, заболел от ядовитых испарений, пролежал четырнадцать месяцев, всеми покинутый, и едва не умер. Терпя нищету, унижения, преследования, посетил странствующим лаборантом Испанию, Францию, Австрию, Голландию, северную Африку, Грецию, Палестину и Персию. У короля венгерского пытали его, надеясь выведать тайну превращения. Наконец, уже старый, утомленный, но не разочарованный, вернулся он в Италию, по приглашению герцога Моро, и получил звание придворного алхимика.

Середину лаборатории занимала неуклюжая печь из огнеупорной глины со множеством отделений, заслонок, плавильников и раздувальных мехов. В одном углу, под слоем пыли, валялись закоптелые выгарки, подобные застывшей лаве.

Рабочий стол загромождали сложные приборы: кубы, перегонные шлемы, химические приемники, реторты, воронки, ступы, колбы со стеклянными пузырями, длинными горлами, змеевидные трубки, громадные бутылки и крошечные баночки. Острый запах отделялся от ядовитых солей, щелоков, кислот. Целый таинственный мир заключен был в металлах – семь богов Олимпа, семь планет небесных: в золоте – Солнце, Луна – в серебре, в меди – Венера, в железе – Марс, в свинце – Сатурн, в олове – Юпитер, и в живой, блистающей ртути – вечно подвижной Меркурий. Здесь были вещества с именами варварскими, внушавшими страх непосвященным: киноварный Месяц, волчье Молоко, медный Ахиллес, астерит, андродама, анагаллис, рапонтикум, аристолохия. Драгоценная капля многолетним трудом добытой Львиной Крови, которая исцеляет все недуги и дает вечную молодость, – алела, как рубин.

Алхимик сидел за рабочим столом. Худощавый, маленький, сморщенный, как старый гриб, но все еще неугомонно-бойкий, мессер Галеотто, подпирая голову обеими руками, вни-

²² «Ангел (Божий возвестил Марии)» (лат.)

мательно смотрел на колбу, которая с тихим звоном закипала и бурлила на голубоватом жидком пламе ни спирта. То было Масло Венеры – *Oleum Veneris*, цвета прозрачно-зеленого, как смарагд. Свеча, горевшая рядом, кидала сквозь колбу изумрудный отблеск на пергамент открытого ветхого фолианта, сочинение арабского алхимика Джабира Абдаллы.

Услышав на лестнице шаги и голоса, Галеотто встал, оглянул лабораторию, – все ли в порядке, – сделал знак слуге, молчаливому фамулусу, чтобы он подложил углей в плавильную печь, и пошел встречать гостей.

Общество было веселое, только что после ужина с мальвазией. В свите герцога – главный придворный врач Марлиани, человек с большими сведениями в алхимии, и Леонардо да Винчи.

Дамы вошли – и тихая келья ученого наполнилась запахом духов, шелковым шелестом платьев, легкомысленным женским говором и смехом – словно птичьим гомоном. Одна задела рукавом и уронила стеклянную реторту. – Ничего, синьора, не беспокойтесь! – молвил Галеотто с любезностью. – Я подберу осколки, чтобы вы не обрезали ножку.

Другая взяла в руку закоптелый кусок железного выгарка, запачкала светлую, надушенную фиалками, перчатку, и ловкий кавалер, тихонько пожимая маленькую ручку, старался кружевным платком отчистить пятно.

Белокурая шаловливая дондзелла Диана, замирая от веселого страха, прикоснулась к чашке, наполненной ртутью, пролила две-три капли на стол и, когда они покатались блестящими шариками, вскрикнула:

– Смотрите, смотрите, синьоры, чудеса: жидкое серебро – само бежит, живое!

И чуть не прыгала от радости, хлопая в ладоши. – Правда ли, что мы увидим черта в алхимическом огне, когда свинец будет превращаться в золото? – спросила хорошенькая, плутоватая Филиберта, жена старого консула соляного приказа. – Как вы полагаете, мессер, не грех ли присутствовать при таких опытах?

Филиберта была очень набожной, и про нее рассказывали, что любовнику она позволяет все, кроме поцелуя в губы, полагая, что целомудрие не совсем нарушено, пока остаются невинными уста, которыми она клялась пред алтарем в супружеской верности. Алхимик подошел к Леонардо и шепнул ему на ухо:

– Мессере, верьте, я умею ценить посещение такого человека, как вы...

Он крепко пожал ему руку. Леонардо хотел возразить, но старик перебил его, закивав головой:

– О, разумеется!.. Тайна для них! Но мы-то ведь друг друга понимаем?..

Потом с приветливой улыбкой обратился к гостям: – С позволения моего покровителя, светлейшего герцога, так же, как этих дам, моих прелестных владычиц, приступаю к опыту божественной метаморфозы. Внимание, синьоры!

Для того, чтобы не могло возникнуть никаких сомнений в достоверности опыта, он показал тигель – плавильный сосуд с толстыми стенками из огнеупорной глины, попросил, чтобы каждый из присутствующих осмотрел его, ощупал, постучал пальцами в дно и убедился, что в нем нет никакого обмана, причем объяснил, что алхимики иногда скрывают золото в плавильных сосудах с двойным дном, из которых верхнее от сильного жара трескается и обнажает золото. Куски олова, угля, раздувательные мехи, палки для размешивания застывающих окалин металла и остальные предметы, в которых могло или, по-видимому, даже вовсе не могло быть спрятано золото, были также тщательно осмотрены.

Потом нарезал олово на малые куски, положил его в тигель и поставил в устье печи на пылающие угли. Молчаливый, косоглазый фамулус, с таким бледным, мертвенным и угрюмым лицом, что одна дама чуть не упала в обморок, приняв его в темноте за дьявола, начал работать громадными раздувательными мехами. Угли разгорались под шумной струей ветра.

Галеотто занимал гостей разговором. Между прочим возбудил всеобщую веселость, назвав алхимию *casta teretrix*, целомудренною блудницею, которая имеет много поклонников, всех обманывает, всем кажется доступной, но до сих пор еще не бывала ни в чьих объятиях, *in nullos unquam pervenit amplexus*.

Придворный врач Марлиани, человек тучный и неуклюжий, с обрюзглым, умным и важным лицом, сердито морщился, внимая болтовне алхимика, потирал свой лоб, наконец не выдержал и произнес: – Мессере, не пора ли за дело? Олово кипит. Галеотто достал синюю бумажку и развернул ее бережно. В ней оказался порошок светло-желтого, лимонного цвета, жирный, блестящий, как стекло, натолченное крупно, пахнувший жженою морскою солью: то была заветная тинктура, неоценимое сокровище алхимиков, чудотворный камень мудрецов, *lapis philosophorum*.

Острием ножа отделил он едва заметную крупинку, не более репного семени, завернул в белый пчелиный воск, скатал Шарик и бросил в кипящее олово.

– Какую силу полагаете вы в тинктуре? – сказал марлиани.

– Одна часть на 2820 частей превращаемого металла, – ответил Галеотто. – Конечно, тинктура еще несовершенна, но я думаю, что в скором времени достигну силы единицы на миллион. Довольно будет взять порошок весом с просынное зерно, растворить в бочке воды, зачерпнуть скорлупой лесного ореха и брызнуть на виноградник, чтобы уже в мае появились спелые гроздья! *Mara tingerem si Mercurius esset* – Я превратил бы в золото море, если бы ртути было достаточно!

Марлиани пожал плечами: хвастовство мессера Галеотто бесило его. Он стал доказывать невозможность превращения доводами схоластики и силлогизмами Аристотеля. Алхимик улыбнулся.

– Погодите, *domine magister*, сейчас я представлю силлогизм, который вам будет нелегко опровергнуть.

Он бросил на угли горсть белого порошка. Облака дыма наполнили лабораторию. С шипением и треском вспыхнуло пламя, разноцветное, как радуга, то голубое, то зеленое, то красное.

В толпе зрителей произошло смятение. Впоследствии мадонна Филиберта рассказывала, что В багровом пламени видела дьявольскую рожу. Алхимик длинным чугунным крючком приподнял крышу на тигеле, раскаленную добела: олово бурлило, пенилось и клокотало. Тигель снова закрыли. Мех засвистел, засопел – и когда минут десять спустя в олово погрузили тонкий железный прут, все увидели, что на конце его повисла желтая капля. – Готово! – произнес алхимик.

Глиняный плавильник достали из печи, дали ему остынуть, разбили и, звеня и сверкая, перед толпой, онемевшей от изумления, выпал слиток золота.

Алхимик указал на него и, обращаясь к Марлиани, произнес торжественно:

– *Solve mihi hunc syllogismum!*²³

– Неслыханно... невероятно... против всех законов Природы и логики! – пролепетал Марлиани, в смущении разводя руками. Лицо мессера Галеотто было бледно; глаза горели. Он поднял их к небу и воскликнул:

– *Laudetur Deus in aeternum, qui partem suae infinitae potentiae nobis, suis adjectissimus creaturis, communicavit. Amen!*²⁴

При испытании золота на смоченном селитренною кислотою пробирном камне осталась желтая, блестящая полоска; оно оказалось чище самого тонкого венгерского и арабского.

²³ Разреши мне этот силлогизм!

²⁴ Слава Вышнему Богу, который нам, недостойнейшим тварям Своим, дарует часть бесконечного могущества Своего. Аминь!

Все окружили старика, поздравляли, пожимали ему руки.

Герцог Моро отвел его в сторону: – Будешь ли ты мне служить верой и правдой? – Я хотел бы иметь больше, чем одну жизнь, чтоб посвятить их все на служение вашей светлости! – отвечал алхимик.

– Смотри же, Галеотто, чтобы никто из других государей...

– Ваше высочество, если кто-нибудь узнает, велите повесить меня, как собаку!

И, помолчав, с подобострастным поклоном прибавил: – Если бы только я мог получить... – Как? Опять?

– О, последний раз, видит Бог, последний, – Сколько?

– Пять тысяч дукатов.

Герцог подумал, выторговал одну тысячу и согласился. Было поздно, мадонна Беатриче могла беспокоиться. Собрались уезжать. Хозяин провожая гостей, каждому поднес на память кусочек нового золота. Леонардо остался.

Когда гости уехали, Галеотто подошел к нему и сказал: – Учитель, как вам понравился опыт? – Золото было в палках, – отвечал Леонардо спокойно. – В каких палках?.. Что вы хотите сказать, мессере? – В палках, которыми вы мешали олово: я видел все. – Вы сами осматривали их... – Нет, не те... – Как не те? Позвольте...

– Я же говорю вам, что видел все, – повторил Леонардо с улыбкой. – Не отпирайтесь, Галеотто. Золото спрятано было внутри выдолбленных палок, и когда деревянные концы их обгорели, оно выпало в тигель.

У старика подкосились ноги; на лице его было выражение покорное и жалкое, как у пойманного вора. Леонардо подошел и положил ему руку на плечо. – Не бойтесь, никто не узнает. Я не скажу. Галеотто схватил его руку и с усилием проговорил: – Правда, не скажете?..

– Нет. Я не желаю вам зла. Только зачем вы?.. – О, мессер Леонардо! – воскликнул Галеотто, и сразу после безмерного отчаяния такая же безмерная надежда вспыхнула в глазах его. – Клянусь Богом, если и вышло так, как будто я обманываю, то ведь это на время, на самое короткое время и для блага герцога, для торжества науки, потому что я ведь нашел, я в самом деле нашел камень мудрецов! Пока-то еще у меня его нет, но можно сказать, что оно уже есть, все равно, что есть, ибо я путь нашел, а вы знаете, в этом деле главное – путь. Еще три-четыре опыта, и кончено! Что же было делать, учитель? Неужели такой маленькой лжи не стоит открытие величайшей истины?..

– Что это с вами, мессер Галеотто, точно в жмурки играем, – молвил Леонардо, пожимая плечами. – Вы знаете так же хорошо, как я, что превращение металлов – вздор, что камня мудрецов нет и быть не может. Алхимия, некромантия, черная магия так же как все прочие науки, не основанные на точном опыте и математике, – обман или безумие, раздуваемое ветром, знамя шарлатанов, за которым следует глупая чернь...

Алхимик продолжал смотреть на Леонардо ясными и удивленными глазами. Вдруг склонил голову набок, лукаво прищурил один глаз и засмеялся:

– А вот это уже и нехорошо, учитель, право нехорошо! Разве я не посвященный, что ли? Как будто мы не знаем, что вы – величайший алхимик, обладатель сокровеннейших тайн природы, новый Гермес Тресемигист и Прометей!

– Я?

– Ну да, вы, конечно.

– Шутник вы, мессер Галеотто!

– Нет, это вы шутник, мессер Леонардо! Ай, ай, ай, какой же вы притворщик! Видал я на своем веку алхимиков, ревнивых к тайне науки, но такого еще никогда!

Леонардо внимательно посмотрел на него, хотел рассердиться и не мог. – Так, значит, вы в самом деле, – произнес он с невольной улыбкой, – вы, в самом деле, верите?..

– Верю ли! – воскликнул Галеотто. – Да знаете ли вы, мессере, что если бы сам Бог сошел ко мне сейчас и сказал: Галеотто, камня мудрецов нет, – я ответил бы ему: Господи, как то, что Ты создал меня, – истинно, что камень есть и что я его найду!

Леонардо более не возражал, не возмущался и слушал с любопытством.

Когда зашла речь о помощи дьявола в сокровенных науках, алхимик с презрительной усмешкой заметил, что дьявол есть самое бедное создание во всей природе и что нет ни единого существа в мире более слабого, чем он. Старик верил только в могущество человеческого разума и утверждал, что для науки все возможно.

Потом вдруг, как будто вспомнил что-то забавное и милое, спросил, часто ли видит Леонардо стихийных духов; когда же собеседник признался, что он еще ни разу их не видел, Галеотто опять не поверил и с удовольствием подробно объяснил, что у Саламандры тело продолговатое, пальца полтора в длину, пятнистое, тонкое и жесткое, а у Сильфиды – прозрачно-голубое, как небо, и воздушное. Рассказал о нимфах, ундилах, живущих в воде, подземных гномах и пигмеях, растительных дурдалах и редких диемейх, обитателях драгоценных камней.

– Я вам и передать не могу, – заключил он свой рассказ, – какие они добрые!..

– Почему же стихийные духи являются не всем, а только избранным?

– Как можно всем? Они боятся грубых людей, – развратников. пьяниц, обжор. Любят детскую простоту и невинность. Они только там, где нет злобы и хитрости. Иначе становятся пугливыми, как лесные звери, и прячутся от взоров человека в родную стихию.

Лицо старика озарилось мечтательной, нежной улыбкой.

«Какой странный, жалкий и милый человек!» – подумал Леонардо, уже не чувствуя негодования на алхимические бредни, стараясь говорить с ним бережно, как с ребенком, готовый притвориться обладателем каких угодно тайн, только бы не огорчить мессера Галеотто. Они расстались друзьями.

Когда Леонардо уехал, алхимик погрузился в новый опыт с Маслом Венеры.

В то время перед громадным очагом, в нижней горнице находившейся под лабораторией, сидела хозяйка, мона Седония, и Кассандра.

Над вязанкой пылающего хвороста висел чугунный котел, в котором варилась похлебка с чесноком и репою на ужин. Однообразным движением сморщенных пальцев старуха вытягивала из кудели и сучила нить, то подымая, то опуская быстро вращавшееся веретено. Кассандра глядела на пряжу и думала: опять все то же, опять сегодня, как вчера, завтра, как сегодня; сверчок поет, скребется мышь, жужжит веретено, трещат сухие стебли горицы, пахнет чесноком и репою; опять старуха теми же словами попрекает, точно пилит тупую пилюю: она, мона Сидония, бедная женщина, хотя люди болтают, что кубышка с деньгами зарыта у нее в винограднике. Но это ввдор. Мессер Галеотто разоряет ее. Оба, дядя и племянница, сидят у нее на шее, прости Господи! Она держит и кормит их только по доброте сердца. Но Кассандра уже не маленькая: надо подумать о будущем. Дядя умрет и оставит ее нищею. Отчего бы ей не выйти замуж за богатого лошадиного барышника из Абiateграссо, который давно сватается? Правда, он уже не молод, зато человек рассудительный, богобоязненный; у него лабаз, мельница, оливковый сад с новым точилом. Господь посылает ей счастье. За чем же дело стало? Какого ей рожна?

Мона Кассандра слушала, и тяжелая скука подкатывалась комом к горлу, душила, сжимала виски, так что хотелось плакать, кричать от скуки, как от боли.

Старуха вынула из котелка дымящуюся репу, проколола острой деревянной палочкой, очистила ножом, облила густым, алым виноградным морсом и начала есть, чавкая беззубым ртом.

Молодая девушка привычным движением, с видом покорного отчаяния, потянулась и заломила над головой тонкие, бледные пальцы.

Когда, после ужина, сонная пряжа, как унылая парка, закивала головой, и глаза ее начали слипаться, скрипучий голос сделался ленивым, болтовня о лошадином барышнике бессвязной, – Кассандра вынула украдкой из-под одежды подарок отца, мессера Луиджи, талисман, висевший на тонком шнулке, драгоценный камень, согретый телом ее, подняла его перед глазами так, чтобы пламя очага просвечивало, и стала смотреть на изображение Вакха; в темно-лиловом сиянии аметиста выступал перед нею, как видение, обнаженный юноша Вакх с тирсом в одной руке, с виноградной кистью в другой; скачущий барс хотел лизнуть эту кисть языком. И любовью к прекрасному богу полно было сердце Кассандры.

Она тяжело вздохнула, спрятала талисман и молвила робко:

– Мона Сидония, сегодня ночью в Барко ди Феррара и в Беневенте собираются... Тетушка! Добрая, милая! Мы и плясать не будем – только взглянем и сейчас назад. Я сделаю все, что хотите, подарок у барышника выманю – только полетим, полетим сегодня, сейчас!..

В глазах ее сверкнуло безумное желание. Старуха посмотрела на нее, и вдруг синеватые, морщинистые губы ее широко осклабились, открывая единственный, желтый зуб, похожий на клык; лицо сделалось страшным и веселым.

– Хочется? – молвила она, – очень, а? Во вкус вошла? Вишь, бедовая девка! Каждую бы ночь летала, не удержишь! Помни же, Кассандра: грех на твоей душе. У меня сегодня и в мыслях не было. Я только для тебя...

Не торопясь, обошла она горницу, закрыла наглухо ставни, заткнула щели тряпицами, заперла двери на ключ, залила водою золу в очаге, засветила огарок черного волшебного сала и вынула из железного рундучка глиняный горшок с остро пахучей мазью. Притворялась медлительной и благоразумной. Но руки у нее дрожали, как у пьяной, маленькие глазки то становились мутными и шалыми, то вспыхивали, как уголья, от вождления. Кассандра вытащила на середину горницы два больших корыта, употребляемых для закваски хлебного теста.

Окончив приготовления, мона Сидония разделась донага, поставила горшок между корытами, села в одно из них верхом на помело и стала натирать себя по всему телу жирною, зеленоватою мазью из горшка. Пронзительный запах наполнил горницу. Это снадобье для полета ведьм Приготовлялось из ядовитого латука, болотного сельдерея, болиголова, паслена, корней мандрагоры, снотворного мака, белены, змеиной крови и жира некрещеных, колдуньями замурченных детей.

Кассандра отвернулась, чтобы не видеть уродства голого тела старухи. В последнее мгновение, когда уже было близко и неминуемо то, чего ей так хотелось, – в глубине ее сердца поднялось омерзение.

– Ну, ну, чего копаешься? – проворчала старая ведьма сидя в корыте на корточках. – Сама же торопила, а теперь кочевряжишься. Я одна не полечу. Раздевайся!

– Сейчас. Потушите огонь, мона Сидония. Я не могу при свете...

– Вишь, скромница! А на Горе-то, небось, не стыдишься?..

Она задула огарок, сотворив в угоду дьяволу принятое ведьмами кощунственное крестное знамение левою рукою. Молодая девушка разделась, только нижней сорочки не сняла; потом стала на колени в корыто и начала поспешно натираться мазью.

В темноте слышалось бормотание старухи – бессмысленные, отрывочные слова заклинаний:

– Emen Hetan, Emen Hetan, Палуд, Баальберит, Астарот, помогите! Agora, agora, Patrica – помогите!

Жадно вдыхала Кассандра крепкий запах волшебного зелья. Кожа на теле горела, голова кружилась. Сладостный холод пробежал по спине. Красные и зеленые круги, сливаясь, поплыли перед глазами, и, как будто издалека, вдруг донесся пронзительный, торжествующий крик моны Сидонии: – Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая!

Из трубы очага вылетела Кассандра, сидя верхом на черном козле с мягкой шерстью, приятно для голых ног. Восторг наполнял ее душу, и, задыхаясь, она кричала, визжала, как ласточка, утопающая в небе:

– Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая! Летим! Летим!

Нагая, простоволосая, безобразная тетка Сидония мчалась рядом, верхом на помеле.

Летели так быстро, что рассекаемый воздух свистел в ушах, как ураган.

– К северу! К северу! – кричала старуха, направляя свое помело, как послушного коня.

Кассандра упивалась полетом.

«А механик-то наш, бедный Леонардо да Винчи со своими летательными машинами!»

– вспомнила она вдруг ей сделалось еще веселее. То подымалась в высоту: черные тучи громоздились под нею, и в них трепетали голубые молнии. Вверху было ясное небо с полным месяцем, громадным, ослепительным, круглым, как мельничный жернов, и таким близким, что казалось, можно было рукою прикоснуться к нему.

То она вниз направляла козла, ухватив его за крутые рога, и летела стремглав, как камень, сорвавшийся в бездну. – Куда? Куда? Шею сломаешь! Взбесилась ты, чертова девка? – вопила тетка Сидония, едва поспевая за ней. И они уже мчались так близко к земле, что сонные травы в болоте шуршали, блуждающие огни освещали им путь, голубые гнилушки мерцали, филин, выпь, козодой жалобно перекликались в дремучем лесу.

Перелетели через вершины Альп, сверкавшие на луне прозрачными глыбами льда, и опустились к поверхности моря. Кассандра, зачерпнув воды рукою, подбрасывала ее вверх и любовалась сапфирными брызгами.

С каждым мигом полет становился быстрее. Попадались все чаще попутчики: седой, косматый колдун в ушате, веселый каноник, толстобрюхий, румянорожий, как Силен, на кочерге, белокурая девочка лет десяти, с невинным лицом, с голубыми глазами, на венике, молодая, голая, рыжая ведьма-людоедка на хрюкающем борове, и множество других. – откуда, сестрицы? – крикнула тетка Сидония. – Из Эллады, с острова Кандии! Другие голоса отвечали: – Из Валенции. С Брокена. Из Салагуцци под Мирандолой. Из Беневента, из Норчии. – Куда? – В Битерн! В Битерн! Там празднует свадьбу Великий Козел – el Boch de Biterne. Летите, летите! Собирайтесь на вечерю!

Теперь уже целою стаей, как вороны, неслись они над печальной равниной.

В тумане луна казалась багровой. Вдали затеплился крест одинокого сельского храма. Рыжая, та, что скакала верхом на свинье, с визгом подлетела к церкви, сорвала большой колокол, швырнула его со всего размаха в болото и, когда он шлепнулся в лужу с жалобным звоном, захохотала, точно залаяла. Белокурая девочка на венике захлопала в ладоши с шаловливой резвостью.

Луна спряталась за тучи. При свете крученных из воска, зеленых факелов, с пламенем ярким и синим, как молния, на белоснежном, меловом плоскогории ползали, бегали, переплетались и расходились огромные, черные, как уголь, тени пляшущих ведьм. – Гарр! Гарр! Шабаш, шаба'ш! Справа налево, справа налево!

Вокруг Ночного Козла, *Nurgus Nocturnus*, восседавшего на скале, тысячи за тысячами проносились как черные гнилые листья осени-без конца, без начала.

– Гарр! Гарр! Славьте Ночного Козла! El Boch de Biterne! El Boch de Biterne! Кончились все наши бедствия! Радуйтесь!

Тонко и сипло пищали волынки из бычачьих мертвых костей; и барабан, натянутый кожей висельников, ударяемый волчьим хвостом, мерно и глухо гудел, рокотал: «туп, туп, туп». В исполинских котлах закипала ужасная снедь, несказанно-лакомая, хотя и не соленая, ибо здешний Хозяин ненавидел соль.

В укромных местечках заводились любовные пашни – дочерей с отцами, братьев с сестрами, черного кота-оборотня, жеманного, зеленоглазого, с маленькой, тонкой и бледной, как

лилия, покорною девочкой, – безликого, серого, как паук, шершавого инкуба с бесстыдно оскалившей зубы монахиней. Всюду копошились мерзостные пары.

Белотелая, жирная ведьма великанша с глупым и добрым лицом, с материнской улыбкой кормила двух новорожденных бесенят: прожорливые сосунки жадно припали к ее отвислым грудям и, громко чмокая, глотали молоко.

Трехлетние дети, еще не принимающие участия в шабаше, скромно пасли на окраине поля стадо бугорчатых жаб с колокольчиками, одетых в пышные попонки из кардинальского пурпура, откормленных святым Причастием.

– Пойдем плясать, – нетерпеливо тащила Кассандру тетка Сидония.

– Лошадиный барышник увидит! – молвила девушка, смеясь.

– Пес его заешь, лошадиного барышника! – отвечала старуха. И обе пустились в пляску, которая закружила, понесла их, как буря, с гулом, воем, визгом, ревом и хохотом. – Гарр! Гарр! Справа налево! Справа налево!

Чьи-то длинные, мокрые, словно моржовые, усы сзади кололи шею Кассаядре; чей-то тонкий, твердый хвост щекотал ее спереди; кто-то ущипнул больно и бесстыдно; кто-то укусил, прошептал ей на ухо чудовищную ласку. Но она не противилась: чем хуже – тем лучше, чем страшнее тем упоительнее.

Вдруг все мгновенно остановились, как вкопанные, окаменели и замерли.

От черного престола, где восседал Неведомый, окруженный ужасом, послышался глухой голос, подобный гулу землетрясения:

– Примите дары мои, – кроткие силу мою, смиренные гордость мою, нищие духом знание мое, скорбные сердцем радость мою, – примите!

Благолепный седобородый старик, один из верховных членов Святейшей Инквизиции патриарх колдунов, служивший черную мессу, торжественно провозгласил:

– Sanctificetur nomen tuum per universum mundum, et libera nos ab omni malo.²⁵

Все пали ниц, и, подражая церковному пению, грянул кощунственный хор:

– Credo in Deum, patrem Luciferum qui creavit coelum et terram. Et in filium ejus Belzebul!²⁶

Когда последние звуки умолкли и опять наступила тишина, раздался тот же голос, подобный гулу землетрясения:

– Приведите невесту мою невестную, голубицу мою непорочную! Первосвященник спросил:

– Как имя невесты твоей, голубицы твоей непорочной? – Мадонна Кассандра! Мадонна Кассандра! – прогудело в ответ.

Услышав имя свое, ведьма почувствовала, как в жилах ее леденеет кровь, волосы встают дыбом на голове.

– Мадонна Кассандра! Мадонна Кассандра! – пронеслось над толпой. – Где она? Где владычица наша? Ave, archisponsa Cassandra!²⁷

Она закрыла лицо руками, хотела бежать – но костяные пальцы, когти, щупальцы, хоботы, шершавые паучьи лапы протянулись, схватили ее, сорвали рубашку и голую, дрожащую повлекли к престолу.

Козлиным смрадом и холодом смерти пахнуло ей в лицо. Она потупила глаза, чтобы не видеть. Тогда сидевший на престоле молвил: – Приди! Она еще ниже опустила голову и увидела у самых ног своих огненный крест, сиявший во мраке. Она сделала последнее усилие, победила омерзение, ступила шаг и подняла глаза свои на того, кто встал перед нею. И чудо совершилось. Козлиная шкура упала с него, как чешуя со змеи, и древний олимпийский бог

²⁵ Поклонитесь, поклонитесь, верные! Да святится имя твое во всем мире и избавь нас от всякого зла (лат.)

²⁶ Верую в Бога – отца Люцифера, сотворившего небо и землю. И в сына его Вельзевула (лат.)

²⁷ Радуйся, владычица Кассандра! (лат.)

Дионис предстал перед мной Кассандрой, с улыбкой вечного веселья на устах, с поднятым тирсом в одной руке, с виноградной кистью в другой; пантера прыгала, стараясь лизнуть эту кисть языком.

И в то же мгновение дьявольский шабаш превратился в божественную оргию Вакха: старые ведьмы-в юных менад, чудовищные демоны – в козлоногих сатиров; и там, где были мертвые глыбы меловых утесов, вознеслись колоннады из белого мрамора, освещенного солнцем; между ними вдаль засверкало лазурное море, и Кассандра увидела в облаках весь лучезарный сонм богов Эллады.

Сатиры, вакханки, ударяя в тимпаны, поражая себя ножами в сосцы, выжимая алый сок винограда в золотые кратеры и смешивая его с собственной кровью, плясали, кружились и пели:

– Слава, слава Дионису! Воскресли великие боги! Слава воскресшим богам!

Обнаженный юноша Вакх открыл объятия Кассандре, и голос его подобен был грому, потрясающему небо и землю:

– Приди, приди, невеста моя, голубица моя непорочная! Кассандра упала в объятия бога.

Послышался утренний крик петуха. Запахло туманом и едкою, дымною сыростью. Откуда-то, из бесконечной дали, донесся благовест колокола. От этого звука на горе произошло великое смятение; вакханки опять превратились в чудовищных ведьм, козлоногие фавны в уродливых дьяволов и бог Дионис в Ночного Козла – в смрадного *Hircus Nocturnus*.

– Домой, домой! Бегите, опасайтесь! – Кочергу мою украли! – с отчаянием вопил толстобрюхий каноник Силен и метался, как угорелый.

– Боров, боров, ко мне! – кликала рыжая голая, пожимаясь от утренней сырости, кашляя.

Заходящий месяц выплыл из-за туч, и в его багровом отблеске, взвиваясь рой за роем, перетрусившие ведьмы, как черные мухи, разлетались с Меловой Горы.

– Гарр! Гарр! Снизу вверх, не задевая! Спасайтесь, бегите!

Ночной Козел заблеял жалобно и провалился сквозь землю, распространяя зловоние удушливой серы. Гудел церковный благовест.

Кассандра очнулась на полу темной горницы в домике у Верчельских ворот.

Ее тошнило, как с похмелья. Голова была точно свинцом налита. Тело разбито усталостью.

Колокол св. Редегонды звенел уныло. Сквозь этот звон раздавался упорный, должно быть, уже давний стук в наружную дверь. Кассандра прислушалась и узнала голос жениха своего, лошадиного барышника из Абиатеграссо.

– Отоприте! Отоприте! Мона Сидония! Мона Кассандра! Оглохли вы, что ли? Как собака, промок. Не возвращаться же назад по этой чертовой слякоти!

Девушка встала с усилием, подошла к окну, наглухо закрытому ставнями, вынула паклю, которою тетка Сидония тщательно заткнула щели. Свет печального утра упал синеватой полоской, озаряя голую старую ведьму, спавшую мертвым сном на полу рядом с опрокинутой квашнею. Кассандра заглянула в щель.

День был ненастный. Дождь лил как из ведра. Перед дверями дома за мутной сеткой дождя виднелся влюбленный барышник; рядом стоял, низко понутив голову, вислоухий крошечный ослик, запряженный в повозку. Из нее выставил морду теленок со связанными ногами, издавая мычание.

Барышник, не унимаясь, стучал в дверь. Кассандра ждала, чем это кончится.

Наконец, ставня наверху, в одном из окон лаборатории стукнула. Выглянул старый алхимик, не выпавшийся, со взъерошенными волосами, с угрюмым и злым лицом, какое бывало у него в те мгновения, когда, пробуждаясь от грез, начинал он сознавать, что свинец не может превратиться в золото.

– Кто стучит? – молвил он, высовываясь из окна. – Чего тебе нужно? Рехнулся ты, что ли, старый хрыч? Да пошлет тебе Господь безвремения! Разве не видишь – все в доме спят. Убирайся!

– Мессер Галеотто! Помилуйте, за что же вы ругаетесь? Я по важному делу, насчет племянницы вашей. Вот теленочка молочного в подарок...

– К черту! – закричал Галеотто с яростью. – Убирайся, негодяй, со своим теленком к черту под хвост! И ставня захлопнулась. Озадаченный барышник на минуту притих. Но тотчас, опомнившись, с удвоенной силой принялся стучать кулаками, как будто хотел выломать дверь.

Ослик еще ниже понурил голову. Дождевые струйки медленно стекали по его безнадежно висевшим мокрым ушам.

– Господи, какая скука! – прошептала мона Кассандра и закрыла глаза.

Ей припомнилось веселие шабаша, превращение Ночного Козла в Диониса, воскресение великих богов, и она подумала:

– Во сне это было или наяву? Должно быть, во сне. А вот то, что теперь – наяву. После воскресенья – понедельник...

– Отоприте! Отоприте! – вопил барышник уже осипшим, отчаянным голосом.

Тяжелые капли из водосточной трубы однозвучно шлепались в грязную лужу. Теленок жалобно мычал. Монастырский колокол звенел уныло.

Пятая книга

Да будет воля твоя

Миланский гражданин башмачник Корболо, вернувшись ночью домой навеселе, получил от жены, по собственному выражению, больше ударов, чем нужно для того, чтобы ленивый осел дошел от Милана до Рима. Поутру, когда отправилась она к соседке своей, лоскутнице, отведать мильяччи – студня из свиной крови, Корболо ощупал в кошмине несколько утаенных от супруги монет, оставил лавчонку на попечение подмастерья и пошел опохмелиться.

Засунув руки в карманы истертых штанов, выступал он ленивой походкой по извилинному темному переулку, такому тесному, что всадник, встретившись с пешим, должен был задеть его носком или шпорой. Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кислым вином и плесенью погребов.

Насвистывая песенку, поглядывая вверх на узкую полосу темно-синего неба между высокими домами, на пронизанные утренним солнцем пестрые лохмотья, развешанные хозяйками на веревках через улицу, Корболо утешал себя мудрою пословицей, которой, впрочем, сам никогда не приводил в исполнение:

«Всякая женщина, злая и добрая, в палке нуждается».

Для сокращения пути прошел он через собор. Здесь была вечная суета, как на рынке. Из одной двери в другую, несмотря на пеню, проходило множество людей, даже с мулами и лошадьми.

Патеры служили молебны гнусливыми голосами; слышался шепот в исповедальнях; горели лампы на алтарях. А рядом уличные мальчишки играли в чехарду, собаки обнюхивались, толкались ободранные нищие.

Корболо остановился на минуту в толпе ротозеев, с лукавым и добродушным удовольствием прислушиваясь к перебранке двух монахов.

Брат Чипполо, босоногий францисканец, низенький, рыжий, с веселым лицом, круглым и масляным, как пышка, доказывал противнику своему, доминиканцу, брату Тимотео, что Франциск, будучи подобен Христу в сорока отношениях, занял место, оставшееся на небе свободным после падения Люцифера, и что сама Божья Матерь не могла отличить его стигматов от крестных ран Иисусовых. Угрюмый, высокий и бледнолицый брат Тимотео противопоставлял язвам Серафимского угодника язвы св. Кaterины, у которой на лбу был кровавый след тернового венца, чего у св. Франциска не было.

Корболо должен был прищурить глаза от солнца, выйдя из тени собора на площадь Аренго, самое бойкое место в Милане, загроможденное лавками мелких торговцев, рыбников, лоскутников и зеленщиц, таким множеством ящиков, навесов и лотков, что между ними едва оставался узкий проход. С незапамятных времен угнездились они на этой площади перед собором, и никакие законы и пени не могли прогнать их отсюда.

«Салат из Валтеллины, лимоны, померанцы, артишоки, спаржа, спаржа хорошая!» – зывали покупателей зеленщицы. Лоскутницы торговались и кудахтали, как наседки.

Маленький упрямый ослик, исчезавший под горою желтого и синего винограда, апельсин, баклажанов, свеклы, цветной капусты, фенноки и лука, ревел раздражающим голосом: ио, ио, ио! Сзади погонщик звонко хлопал его дубиной по облезлым бокам и понукал отрывистым гортанным криком: арри! арри!

Вереница слепых с посохами и поводырем пела жалобную «Intemerata».

Уличный шарлатан-зубодер, с ожерельем зубов на выдровой шапке, с быстрыми и ловкими движениями фокусника, стоя позади человека, сидевшего на земле, и сжимая ему голову коленями, выдергивал зуб громадными щипцами.

Мальчишки показывали жиду свиное ухо и пускали траттолу-волчок под ноги прохожих. Самый отчаянный из шалунов, черномазый, курносый Фарфаниккио, принес мышеловку, выпустил мышь и начал охотиться за нею с метлою в руках, с пронзительным гиком и свистом: «Вот она, вот она!» Убегая от погони, мышь бросилась под широчайшие юбки мирно вязавшей чулок толстогрудой, дебелий зеленщицы Барбаччи. Она вскочила, завизжала, как ошпаренная, и, при общем хохоте, подняла платье, стараясь вытряхнуть мышь. – Погоди, возьму булыжник, разобью тебе обезьянью башку, негодяй! – кричала в бешенстве.

Фарфаниккио издали показывал язык и прыгал от восторга.

На шум обернулся носильщик с громадною свиною тушей на голове. Лошадь доктора, мессера Габбадео, испугалась, шарахнулась, понесла, задела и уронила целую грудку кухонной посуды в лавчонке торговца старым железом, Ополовники, сковороды, кастрюли, терки, котлы посыпались с оглушительным грохотом. Перетрусивший мессер Габбадео скакал, отпустив поводья и вопил: «Стой, стой, чертова перечница!»

Собаки лаяли. Любопытные лица высывались из окон.

Хохот, ругань, визг, свист, человеческий крик и оглушительный рев стояли над площадью.

Любуясь на это зрелище, башмачник думал с кроткой улыбкой:

«А славно было бы жить на свете, если б не жены, которые едят мужей своих, как ржавчина ест железо!»

Заслонив глаза от солнца ладонью, взглянул он вверх на исполинское неоконченное строение, окруженное плотничьими лесами. То был собор, воздвигаемый народом во славу Рождества Богородицы.

Малые и великие принимали участие в создании храма. Королева Кипрская прислала драгоценные воздуха, тканые золотом; бедная старушка-лоскутница Катерина положила на главный алтарь, как приношение Деве Марии, не думая о холоде предстоящей зимы, ветхую единственную шубенку свою, ценой в двадцать сольдов.

Корболо, с детства привыкший следить за постройкой, в это утро заметил новую башню и обрадовался ей.

Каменщики стучали молотками. С выгрузной пристани в Лагетто у Сан-Стефано, неподалеку от Оспедале Маджоре, где причаливали барки, подвозились огромные искрящиеся глыбы белого мрамора из Лагомаджорских каменоломен. Лебедки скрипели и скрежетали цепями. Железные пилы визжали, распиливая мрамор. Рабочие ползали по лесам, как муравьи. И великое здание росло, выросло бесчисленным множе ством сталактитоподобных стрельчатых игл, колоколен и башен из чистого белого мрамора, в голубых небесах, – вечная хвала народа Деве Марии Рождающейся.

Корболо спустился по крутым ступеням в прохладный, сводчатый, установленный винными бочками, погреб немца-харчевника Тибальдо.

Вежливо поздоровался с гостями, подсел к знакомому утильщику Скарабулло, спросил себе кружку вина и горячих миланских пирожков с тмином – офэлэтт, не спеша Хлебнул, закусил и сказал:

– Если хочешь быть умным, Скарабулло, никогда не женись! – Почему?

– Видишь ли, друг, – продолжал башмачник глубокомысленно, – жениться все равно, что запустить руку в мешок со змеями, чтобы вынуть угря. Лучше иметь подагру, чем жену, Скарабулло!

За столиком рядом, краснобай и балагур, златошвей Маскарелло рассказывал голодным оборванцам чудеса о неведомой земле Берлинцоне, блаженном крае, именуемом Живи-Лакомо, где виноградные лозы подвязываются сосисками, гусь идет за грош да еще с гусенком в придачу. Есть там гора из тертого сыру, на которой живут люди и ничем другим не занимаются, как только готовят макарены и клецки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз.

Кто больше поймает, у того больше бывает. И поблизости течет река из верначчаю – лучшего вина никто не пивал, и нет в нем ни капли воды.

В погреб вбежал маленький человек, золотушный, с глазами подслеповатыми, как у щенка, не совсем прозревшего, – Горгольо, выдувальщик стекла, большой сплетник и любитель новостей.

– Синьоры, – приподымая запыленную дырявую шляпу и вытирая пот с лица, объявил он торжественно, – синьоры, я только что от французов!

– Что ты говоришь, Горгольо? Разве они уже здесь? – Как же, – в Павии... Фу, дайте дух перевести, запыхался. Бежал, сломя голову. Что, думаю, если кто-нибудь раньше меня поспеет...

– Вот тебе кружка, пей и рассказывай: что за народ французы?

– Бедовый, братцы, народ, не клади им пальца в рот. Люди буйные, дикие, иноплеменные, богопротивные, звероподобные – одно слово, варвары! Пищали и аркебузы восьмилуктевые, ужевицы медные, бомбарды чугунные с ядрами каменными, кони, как чудища морские, – лютые, с ушами, с хвостами обрезанными.

– А много ли их? – спросил Мазо. – Тьмы тем! Как саранча, всю равнину кругом обложили, конца краю не видать. Послал нам Господь за грехи черную немочь, северных дьяволов!

– Что же ты бранишь их, Горгольо, – заметил Маскарелло, – ведь они нам друзья и союзники?

– Союзники! Держи карман! Этакий друг хуже врага, – купит рога, а съест быка.

– Ну, ну, не растарабарывай, говори толком: чем французы нам враги? – допрашивал Мазо.

– А тем и враги, что нивы наши топчут, деревья рубят, скотину уводят, поселян грабят, женщин насилуют. Король-то французский плюгавый – в чем душа держится, а на женщин лих. Есть у него книга с портретами голых итальянских красавиц. Ежели, говорят они, Бог нам поможет, – от Милана до Неаполя ни одной девушки невинной не оставим.

– Негодяи! – воскликнул Скарабулло, со всего размаха ударяя кулаком по столу так, что бутылки и стаканы зазвенели.

– Моро-то наш на задних лапках под французскую дудку пляшет, – продолжал Горгольо. – Они нас и за людей не считают. – Все вы, говорят, воры и убийцы. Собственного законного герцога ядом извели, отрока невинного уморили. Бог вас за это наказывает и землю вашу нам передает. – Мы-то их, братцы, от доброго сердца потчует, а они угощение наше лошадям отведать дают: нет ли, мол, в пище того яда, которым герцога отравили?

– Врешь, Горгольо!

– Лопни глаза мои, отсохни язык! И послушайте-ка, мессеры, как они еще похваляются: завоюем, говорят, сначала все народы Италии, все моря и земли покорим, великого Турку положим, Константинополь возьмем, на Масличной Горе в Иерусалиме крест водрузим, а потом опять к вам вернемся. И тогда суд Божий совершим над вами. И если вы нам не покоритесь, самое имя ваше сотрем с лица земли.

– Плохо, братцы, – молвил златошвей Маскарелло, – ой, плохо! Такого еще никогда не бывало... Все притихли.

Брат Тимотео, тот самый монах, что спорил в соборе с братом Чипполо, воскликнул торжественно, воздевая руки к небу:

– Слово великого пророка Божьего, Джироламо Савонаролы: се грядет муж, который завоюет Италию, не вы нимая меча из ножен. О, Флоренция! о, Рим! о, Милан! – время песен и праздников миновало. Покайтесь! Покайтесь! Кровь герцога Джан-Галеаццо, кровь Авеля, убитого Катом, вопиет о мщении к Господу!

– Французы! Французы! Смотрите! – указывал Горгольо на двух солдат, входивших в погреб.

Один – гасконец, стройный молодой человек с рыжими усиками, с красивым и наглым лицом, был сержант французской конницы, по имени Бонивар. Товарищ его – пикардиец, пушкарь Гро-Гильош, толстый, приземистый старик с бычьей шеей, с лицом, налитым кровью, с выпуклыми рачьими глазами и медною серьгой в ухе. Оба навеселе.

– Найдем ли мы, наконец, в этом анафемском городе кружку доброго вина? – хлопая по плечу Гро-Гильоша, молвил сержант. – От ломбардской кислятины горло дерет, как от укуса!

Бонивар с брезгливым, скучающим видом развалился за одним из столиков, высокомерно поглядывая на прочих посетителей, постучал оловянной кружкой и крикнул на ломаном итальянском языке:

– Белого, сухого, самого старого! Соленой червеллаты на закуску.

– Да, братец, – вздохнул Гро-Гильош, – как вспомнишь родное бургонское или драгоценное бом, золотистое, точно волосы моей Лизон, – сердце от тоски защежит! И то сказать: каков народ, таково вино. Выпьем-ка, дружище, за милую Францию!

Du grand Dieu soit maudit a – utrance, Qui malouldroit au royaume lie France!²⁸

– О чем они? – шепнул Скарабулло на ухо Горгольо. – Привередничают, наши вина бра-
нут, своя похваляют.

– Вишь, хорохорятся петухи французские! – проворчал, нахмурившись, лудильщик. – Зудит у меня рука, ой, зудит проучить их, как следует!

Тибальдо, хозяин-немец, с толстым брюхом, на тонких ножках, с громадной связкой ключей за широким кожаным поясом, нацедил из бочки полбренты и подал французам в запотевшем от холода глиняном кувшине, недоверчиво посматривая на чужеземных гостей. Бонивар одним духом выпил кружку вина, которое показалось ему превосходным, плюнул и выразил на лице своем отвращение.

Мимо него прошла дочь хозяина, Лотта, миловидная белокурая девушка, с такими же добрыми голубыми глазами, как у Тибальдо.

Гасконец лукаво подмигнул товарищу закрутил свой рыжий ус; потом выпив еще, с ухарством затянул солдатскую песенку о Карле VIII:

Charles fera si grandes batailles,
Qu'il conquerra les Itailles,
En Jerusalem entreg
Et mont des Oliviers montera.²⁹

Гро-Гильош подпевал сильным голосом. Когда Лотта, возвращаясь, опять проходила мимо них, скромно потупив глаза, сержант обнял ее стан, желая посадить девушку к себе на колени.

Она оттолкнула его, вырвалась и убежала. Он вскочил, поймал ее и поцеловал в щеку губами, мокрыми от вина.

Девушка вскрикнула, уронила на пол глиняный кувшин, который разбился вдребезги, и, обернувшись, со всего размаха ударила француза по лицу так, что тот на мгновение опешил. Гости захохотали.

– Ай да девка! – воскликнул златошвей, – клянусь святым Джервазио, от роду не видывал я такой здоровенной пощечины! Вот так утешила!

– Ну ее, брось, не связывайся! – удерживал Грогильош Бонивара.

Гасконец не слушал. Хмель сразу ударил ему в голову. Он засмеялся насильственным смехом и крикнул:

²⁸ Да будет беспощадно проклят Богом тот, кто пожелает зла французскому королевству! (франц.)

²⁹ В великих битвах Карл завоеует всю Италию, Войдет в Иерусалим И поднимется на Масличную гору (франц.).

– Подожди же, красавица, – теперь уж я не в щеку, а прямо в губы!

Бросился за нею, опрокинул стол, догнал и хотел поцеловать. Но могучая рука лудильщика Скарабулло схватила его сзади за шиворот.

– Ах ты, собачий сын, французская твоя рожа бесстыжая! – кричал Скарабулло, встряхивая Бонивара и сдавливая ему шею все крепче, – погоди, намну я тебе бока, будешь помнить, как оскорблять миланских девушек!..

– Прочь, негодяй! Да здравствует Франция! – завопил в свою очередь рассвирепевший Гро-Гильош.

Он замахнулся шпагой и вонзил бы ее в спину лудильщику, если бы Маскарелло, Горгольо, Мазо и другие собутельники не подскочили и не удержали его за руки.

Между опрокинутыми столами, скамейками, бочонками, черепками разбитых кувшинов и лужами вина произошла свалка.

Увидев кровь, оголенные шпаги и ножи, испуганный Тибальдо выскочил из погреба и закричал на всю площадь:

– Смертоубийство! Французы грабят! Ударили в рыночный колокол. Ему ответил другой, на Бролетто. Осторожные купцы запирали лавки. Лоскутницы и овощницы уносили лотки с товарами.

– Святые угодники, заступники наши, Протавио, Джервазио! – голосила Барбачча. – Что там такое? Пожар, что ли? – Бейте, бейте французов!..

Маленький Фарфаниккио прыгал от восторга, свистел и визжал пронзительно: – Бейте, бейте французов!

Появились городские стражники – берровьеры с аркебузами и алебардами.

Они подоспели вовремя, чтобы предупредить убийство и вырвать из рук черни Бонивара и Гро-Гильоша. Забирая кого попало, схватили и башмачника Корболо.

Жена, прибежавшая на шум, всплеснула руками и завывала:

– Смилуйте, отпустите муженька моего, отдайте его мне! Я уж с ним расправлюсь по-своему, вперед в уличную свалку не полезет! Право же синьоры, этот дурак и веревки не стоит, на которой его повесят!

Корболо печально и стыдливо потупил глаза, притворяясь, что не слышит угроз жены, и спрятался от нее за спину городских стражников.

Над лесами неоконченного собора, по узкой веревочной лестнице влезал на одну из тонких колоколен, недалеко от главного купола, молодой каменщик с маленьким изваянием св. великомученицы Екатерины, которое надо было прикрепить на самом конце стрельчатой башни.

Кругом подымались, как будто реяли сталактитоподобные, остроконечные башни, иглы, ползучие арки, каменное кружево из небывалых цветов, побегов и листьев, бесчисленные пророки, мученики, ангелы, смеющиеся рожи дьяволов, чудовищные птицы, сирены, гарпии, драконы с колючими крыльями, с разинутыми пастьями, на концах водосточных труб. Все это – из чистого мрамора, ослепительно белого, с тенями голубыми, как дым, – походило на громадный зимний лес, покрытый сверкающим инеем.

Было тихо. Только ласточки с криком проносились над головой каменщика, из толпы на площади долетал к нему, как слабый шелест муравейника. На краю бесконечной зеленой Ломбардии сияли снежные громады Альп, такие же острые, белые, как вершины собора. Порой снизу чудились отзвуки органа, как бы молитвенные вздохи из внутренности храма, из глубины его каменного сердца – и тогда казалось, что все великое здание живет, дышит, растет и возносится к небу, как вечная хвала Марии Рождающейся, как радостный гимн всех веков и народов Деве Пречистой, Жене, облеченной в солнце.

Вдруг шум на площади усилился. Послышался набат. Каменщик остановился, посмотрел вниз, и голова его закружилась, в глазах потемнело: ему казалось, что исполинское здание шатается под ним, тонкая башня, на которую он взлезал, гнется, как тростник.

– Кончено, падаю! – подумал он с ужасом. – Господи, прими душу мою!

С последним отчаянным усилием уцепился за веревочную ступень, закрыл глаза и прошептал: – Ave, dolce Maria, di grazia piena!³⁰ Ему стало легче.

С высоты повеяло прохладным дуновением. Он перевел дыхание, собрал силы и продолжал путь, не слушая более земных голосов, поднимаясь все выше и выше к тихому, чистому небу, повторяя с великою радостью: – Ave, dolce Maria, di grazia piena.

В это время по мраморной широкой почти плоской крыше собора проходили члены строительного совета, зодчие итальянские и чужеземные, приглашенные герцогом для совещания о тибурио – главной башне над куполом храма.

Среди них был Леонардо да Винчи. Он предложил свой замысел, но члены совета отвергли его, как слишком смелый, необычайный и вольнодумный, противоречащий преданиям церковного зодчества.

Спорили и не могли придти к соглашению. Одни доказывали, что внутренние столбы недостаточно прочны. «Если бы, – говорили они – тибурио и башни были окончены, то скоро здание рухнуло бы, так как постройка начата людьми невежественными». По мнению других, собор простоят вечность.

Леонардо по обыкновению, не принимая участия в споре, стоял, одинокий и молчаливый, в стороне. Один из рабочих подошел к нему и подал письмо. – Мессере, внизу на площади ожидает вашей милости верховой из Павии.

Художник распечатал писвмо и прочел:

«Леонардо, приезжай поскорее. Мне нужно тебя видеть.

Герцог Джан-Галеаццо.

14 октября».

Он извинился перед членами совета, сошел на площадь, сел на коня и отправился в Каstellо ди Павия, замок, который был в нескольких часах езды от Милана.

Каштаны, вязы и клены громадного парка сияли на солнце золотом и пурпуром осени. Порхая как бабочки, падали мертвые листья. В заросших травой фонтанах не была вода. В запущенных цветниках увядали астры.

Подходя к замку, Леонардо увидел карлика. Это был старый шут Джан-Галеаццо, оставшийся верным своему господину, когда все прочие слуги покинули умирающего герцога.

Узнав Леонардо, ковыляя и подпрыгивая, карлик побежал ему навстречу.

– Как здоровье герцога? – спросил художник. Тот ничего не ответил, только безнадежно махнул рукою.

Леонардо пошел было главной аллеей. – Нет, нет, не сюда! – остановил его карлик. – Тут могут увидеть. Их светлость просили, чтобы тайно... А то, если герцогиня Изабелла узнает, – пожалуй не пустят. Мы лучше обходим, боковой дорожкой...

Войдя в угловую башню, поднялись по лестнице и миновали несколько мрачных покоев, должно быть, некогда великолепных, теперь необитаемых. Обои из кордуанской златотисненной кожи содраны были со стен; герцогское сиденье под шелковым навесом заткано паутиною. Сквозь окна с разбитыми стеклами ветер осенних ночей занес из парка желтые листья.

– Злодеи, грабители! – ворчал себе под нос карлик, указывая спутнику на следы запустения. – Верите ли, глаза бы не смотрели на то, что здесь творится! Убежал бы на край света,

³⁰ Радуйся, благодатная Мария! (итал.)

если бы не герцог, за которым и ухаживать то некому, кроме меня, старого уroda... Сюда, сюда пожалуйте.

Притворив дверь, он впустил Леонардо в пропитанную запахом лекарств душную темную комнату.

Кровопускание, согласно с правилами врачебного искусства, делали при свечах и закрытых ставнях. Помощник цирюльника держал медный таз, в который стекала кровь. Сам брадобрей, скромный старичок, засучив рукава, производил надрез вены. Врач, растер физикий, с глубокомысленным лицом, в очках, в докторском наплечнике из темно-лилового бархата на белом меху, не принимая участия в работе цирюльника, – прикосновение к хирургическим орудиям считалось унижением для достоинства врача, – только наблюдал.

– Перед ночью снова извольте пустить кровь, – сказал он повелительно, когда рука была перевязана, и больного уложили на подушки.

– Domine magister, – произнес брадобрей учтиво и робко, – не лучше ли подождать? Как бы чрезмерная потеря крови...

Врач посмотрел на него с презрительной усмешкой: – Постыдитесь, любезнейший! Пора бы вам знать, что из двадцати четырех фунтов крови, находящихся в человеческом теле, можно выпустить двадцать, без всякой опасности для жизни и здоровья. Чем больше берете испортившейся воды из колодца, тем больше остается свежей. Я пускал кровь грудным младенцам, не жалея, и, благодаря Богу, всегда помогало.

Леонардо, слушавший этот разговор внимательно, хотел возразить, но подумал, что спорить с врачами столь же бесполезно, как с алхимиками.

Доктор и цирюльник удалились. Карлик поправил подушки и укутал ноги больного одеялом.

Леонардо оглянул комнату. Над постелью висела клетка с маленьким зеленым попугаем. На круглом столике валялись карты, игральные кости, стоял стеклянный сосуд, наполненный водой, с золотыми рыбками. В ногах у герцога спала, свернувшись, белая собачка. Все это были последние забавы, которые верный слуга придумывал для развлечения своего господина.

– Отправил письмо? – проговорил герцог, не открывая глаз. – Да, ваша светлость, – заторопился карлик, – мы-то ждем, думаем, вы спите. Ведь мессер Леонардо здесь...

– Здесь? – Больной с радостной улыбкой сделал усилие, чтобы приподняться.

– Учитель, наконец-то! Я боялся, что ты не приедешь... Он взял художника за руку, и прекрасное, совсем молодое лицо Джан-Галеаццо. – ему было двадцать четыре года, – оживилось бледным румянцем. Карлик вышел из комнаты, чтобы сторожить у двери. – Друг мой, – продолжал больной, – ты конечно слышал?..

– О чем, ваша светлость?

– Не знаешь? Ну, если так, то и вспоминать не надо. А впрочем, все равно, скажу: вместе посмеемся. Они говорят...'

Он остановился, посмотрел ему прямо в глаза и закончил с тихой усмешкой:

– Они говорят, что ты – мой убийца. Леонардо подумал, что больной бредит.

– Да, да, не правда ли, какое безумие? Ты мой убийца!... – повторил герцог. – Недели три назад мой дядя Моро и Беатриче прислали мне в подарок корзину персиков. Мадонна Изабелла уверена, что с тех пор как я отведал этих плодов, мне сделалось хуже, что я умираю от медленного яда, и будто бы в саду твоём есть такое дерево...

– Правда, – молвил Леонардо, – у меня есть такое дерево.

– Что ты говоришь?.. Неужели?..

– Нет, Бог спас меня, если только плоды, в самом деле, из моего сада. Теперь я понимаю, откуда эти слухи: изучая действие ядов, я хотел отравить персиковое дерево. Я сказал моему ученику Зороастро да Перетолу, что персики отравлены. Но опыт не удался. Плоды безвредны. Должно быть, ученик поторопился и сообщил кому-нибудь...

– Я так и думал, – воскликнул герцог радостно, – никто не виноват в моей смерти! А между тем все они друг друга подозревают, ненавидят, боятся... О, если бы можно было сказать им все, как мы с тобой теперь говорим! Дядя считает себя моим убийцей, а я знаю, что он добрый, только слабый и робкий. Да и зачем бы ему убивать меня? Я сам готов отдать ему власть. Ничего мне не нужно... Я ушел бы от них, жил бы на свободе, в уединении, с друзьями. Сделался бы монахом или твоим учеником, Леонардо. Но никто не хотел поверить, что я в самом деле не жа лею власти... И зачем, Боже мой, зачем они теперь это сделали? Не меня, себя они отравили невинными плодами твоего невинного дерева, бедные, слепые... Я прежде думал что я несчастен, потому что должен умереть. Но теперь я понял все, учитель. Я больше ничего не хочу, ничего не боюсь. Мне хорошо, спокойно и так отрадно, как будто в знойный день я сбросил с себя пыльную одежду и вхожу в чистую, холодную воду. О, друг мой, я не умею сказать, но ты понимаешь, о чем я говорю? Ты ведь сам такой... Леонардо молча, с тихой улыбкою, пожал ему руку. – Я знал, – продолжал больной еще радостнее, – я знал, что ты поймешь меня... Помнишь, ты сказал мне однажды, что созерцание вечных законов механики, естественной необходимости учит людей великому смирению и спокойствию? Тогда я не понял. Но теперь, в болезни, в одиночестве, в бреду, как часто вспоминал я тебя, твое лицо, твой голос, каждое слово твое, учитель! Знаешь ли, мне иногда кажется: разными путями мы пришли с тобой к одному, ты – в жизни, я – в смерти...

Двери открылись, вбежал карлик с испуганным видом и объявил: – Мона Друда!

Леонардо хотел уйти, но герцог его удержал. В комнату вошла старая няня Жан-Галеаццо, держа в руках небольшую склянку с желтоватой мутной жидкостью – скорпионовою мазью.

В середине лета, когда солнце – в созвездии Пса, ловили скорпионов, опускали их живыми в столетнее оливковое масло с крестовиком, матридатом и змеевиком, отстаивали на солнце в течение пятидесяти дней и каждый вечер мазали больному под мышками, виски, живот и грудь около сердца, знахарки утверждали, что нет лучшего лекарства не только против всех ядов, но и против колдовства, наваждения и порчи.

Старуха, увидев Леонардо, сидевшего на краю постели, остановилась, побледнела, и руки ее так затряслись, что она едва не выронила склянки.

– С нами сила Господня! Матерь пресвятая Богородица!..

Крестясь, бормоча молитвы, пятилась она к двери и, выйдя из комнаты, побежала так поспешно, как только позволяли ей старые ноги, к своей госпоже, мадонне Изабелле, сообщить страшную весть.

Мона Друда была уверена, что злодей Моро и его приспешник Леонардо извели герцога, если не ядом, то глазом, порчею, вынутым следом или какими-либо другими бесовскими чарами. Герцогиня молилась в часовне, стоя на коленях пред образом.

Когда мона Друда доложила ей, что у герцога – Леонардо, она вскочила и воскликнула: – Не может быть! Кто его пустил?.. – Кто пустил? – пробормотала старуха, покачав головой. – Верите ли, ваша светлость, и ума не приложу, откуда он взялся, окаянный! Точно из земли вырос или в трубу влетел, прости Господи! Дело, видно, нечистое. Я уже давно докладывала вашей светлости... В часовню вошел паж и почтительно преклонил колено; – Светлейшая мадонна, угодно ли будет вам и вашему супругу принять его величество, христианнейшего короля Франции?

Карл VIII остановился в нижних покоях Павийского замка, роскошно убранных для него герцогом Лодовико Моро.

Отдыхая после обеда, король слушал чтение только что по его заказу переведенной с латинского на французский язык, довольно безграмотной книги: «Чудеса Города Рима – *Mirabilia Urbis Romae*».

Одиноким, запуганным отцом своим, болезненный ребенок, Карл, проведя печальные годы в пустынном замке Амбуаз, воспитывался на рыцарских романах, которые окончательно вскружили ему и без того уже слабую голову. Очутившись на престоле Франции и вообразив себя героем сказочных подвигов, во вкусе тех, какие повествуются о странствующих рыцарях Круглого Стола, Ланселоте и Тристане, двадцатилетний мальчик, неопытный и застенчивый, добрый и взбалмошный, задумал исполнить на деле то, что вычитал из книг. «Сын бога Марса, потомок Юлия Цезаря», по выражению придворных летописцев, спустился он в Ломбардию, во главе громадного войска, для завоевания Неаполя, Сицилии, Константинополя, Иерусалима, для низвержения Великого Турка, совершенного искоренения ереси Магометовой и освобождения Гроба Господня от ига неверных.

Слушая «Чудеса Рима» с простодушным доверием, король предвкушал славу, которую приобретет завоеванием столь великого города. Мысли его путались. Он чувствовал боль под ложечкой и тяжесть в голове от вчерашнего, слишком веселого ужина с миланскими дамами. Лицо одной из них, Лукреции Кривелли, всю ночь снилось ему.

Карл VIII ростом был мал и лицом уродлив. Ноги имел кривые, тонкие, как спицы, плечи узкие, одно выше другого, впалую грудь, непомерно большой крючковатый нос, волосы редкие, бледно-рыжие, странный желтоватый пух вместо усов и бороды. В руках и в лице судорожное подергивание. Вечно открытые, как у маленьких детей, толстые губы, вздернутые брови, громадные белесоватые и близорукие глаза навывкате придавали ему выражение унылое, рассеянное и, вместе с тем, напряженное, какое бывает у людей слабых умом. Речь была невнятной и отрывочной. Рассказывали, будто бы король родился шестипалым, и для того, чтобы это скрыть, ввел при дворе безобразную моду широких, закругленных, наподобие лошадиных копыт, мягких туфель из черного бархата.

– Тибо, а, Тибо, – обратился он к придворному валедешамбру, прерывая чтение, со своим обычным рассеянным видом, заикаясь и не находя нужных слов, – мне, братец, того... как будто пить хочется. А? Изжога, что ли? Принеси-ка вина, Тибо...

Вошел кардинал Бриссоне и доложил, что герцог ожидает короля.

– А? А? Что такое? Герцог?.. Ну, сейчас. Только выпью...

Карл взял кубок, поданный придворным. Бриссоне остановил короля и спросил Тибо: – Наше?

– Нет, монсиньор, – из здешнего погреба. У нас все вышло. Кардинал выплеснул вино.

– Простите, ваше величество. Здешние вина могут быть вредными для вашего здоровья. Тибо, вели кравчему сбегать в лагерь и принести бочонок из походного погреба.

– Почему? А? Что, что такое?.. – бормотал король в недоумении.

Кардинал шепнул ему на ухо, что опасается отравы, ибо от людей, которые уморили законного государя своего, можно ожидать всякого предательства, и, хотя нет явных улик, осторожность не мешает.

– Э, вздор! Зачем? Хочется пить, – молвил Карл, подергивая плечом с досадой, но покорился. Герольды побежали вперед.

Четыре пажа подняли над королем великолепный балдахин из голубого шелка, затканый серебряными французскими лилиями, сенешаль накинул ему на плечи мантию с горностаевой оторочкой, с вышитыми по красному бархату золотыми пчелами и рыцарским девизом: «Le roi des abeilles n'a pas d'aiguillon»,³¹ – и по мрачным запустелым покоям Павийского замка направилось шествие в комнаты умирающего.

Проходя мимо часовни. Карл увидел герцогиню Изабеллу. Почтительно снял берет, хотел подойти и, по старозаветному обычаю Франции, поцеловать даму в уста, назвав ее «милой сестрицей». Но герцогиня подошла к нему сама и бросилась к его ногам:

³¹ Король пчел не имеет жала.

– Государь, – начала она заранее приготовленную речь, – сжался над нами! Бог тебя наградит. Защити невинных, рыцарь великодушный! Моро отнял у нас все, захватил престол, отравил супруга моего, законного герцога миланского, Джан-Галеаццо. В собственном доме своем окружены мы убийцами...

Карл плохо понимал и почти не слушал того, что она говорила.

– А? А? Что такое? – лепетал он, точно спросонок, судорожно подергивая плечом и заикаясь. – Ну, ну, не надо... Прошу вас... не надо же, сестрица... Встаньте, встаньте!

Но она не вставала, ловила его руки, целовала их, хотела обнять его колени и, наконец, заплакав, воскликнула с непритворным отчаянием:

– Если и вы меня покинете, государь, я наложу на себя руки!..

Король окончательно смутился, и лицо его болезненно сморщилось, как будто он сам готов был заплакать.

– Ну, вот, вот!.. Боже мой... я не могу... Бриссоне... пожалуйста... я не знаю... скажи ей...

Ему хотелось убежать; она не пробуждала в нем никакого сострадания, ибо в самом унижении, в отчаянии была слишком горда и прекрасна, похожа на величавую героиню трагедии.

– Яснейшая мадонна, успокойтесь. Его величество сделает все, что можно, для вас и для вашего супруга, мессира Жан-Галеасса, – молвил кардинал вежливо и холодно, с оттенком покровительства, произнося имя герцога по-французски.

Герцогиня оглянулась на Бриссоне, внимательно по смотрела в лицо королю и вдруг, как будто теперь только поняла, с кем говорит, умолкла.

Уродливый, смешной и жалкий, стоял он перед ней с открытыми, как у маленьких детей, толстыми губами, с бессмысленной, напряженной и растерянной улыбкой, выкатив огромные белесоватые глаза.

«Я – у ног этого заморыша, слабоумца, я – внучка Фердинанда Арагонского!»

Встала; бледные щеки ее вспыхнули. Король чувствовал, что необходимо сказать что-то, как-нибудь выйти из молчания. Он сделал отчаянное усилие, задергал плечом, заморгал глазами и, пролепетав только свое обычное: «А? А? Что такое?» – заикнулся, безнадежно махнул рукой и умолк.

Герцогиня смерила его глазами с нескрываемым презрением. Карл опустил голову, уничтоженный. – Бриссоне, пойдем, пойдем... что ли... А?.. Пажи распахнули двери. Карл вошел в комнату герцога. Ставни были открыты. Тихий свет осеннего вечера падал в окно сквозь высокие золотые вершины парка.

Король подошел к постели больного, назвал его двоюродным братцем – *mon cousin* и спросил о здоровье.

Джан-Галеаццо ответил с такою приветливою улыбкою, что Карлу тотчас сделалось легче, смущение прошло, и он мало-помалу успокоился.

– Господь да пошлет победу вашему величеству, государь! – сказал, между прочим, герцог. – Когда вы будете в Иерусалиме, у Гроба Господня, помолитесь за мою бедную душу, ибо к тому времени я...

– Нет, нет, братец, как можно, что вы это? зачем? – перебил его король. – Бог милостив. Вы поправитесь... Мы еще вместе в поход пойдем, с нечестивыми турками повоюем, вот помяните слово мое! А? Что?.. Джан-Галеаццо покачал головой: – Нет, куда уж мне!

И, посмотрев прямо в глаза королю глубоким испытующим взором, прибавил:

– Когда я умру, государь, не покиньте моего мальчика, Франческо, а также Изабеллу; она несчастная, – нет у нее никого на свете...

– Ах ты, Господи, Господи! – воскликнул Карл в неожиданном, сильном волнении; толстые губы его дрогнули, углы их опустились, и, словно внезапным внутренним светом, лицо озарилось необычайной добротой.

Он быстро наклонился к больному и, обняв его с порывистой нежностью, пролепетал:

– Братец мой, миленький!.. Бедный ты мой, бедненький! – Оба улыбнулись друг другу, как жалкие больные дети. губы их соединились в братском поцелуе. Выйдя из комнаты герцога, король подозвал кардинала:

– Бриссоне, а, Бриссоне... знаешь, надо как-нибудь... того... а? заступиться... Нельзя так, нельзя... Я – рыцарь... Надо защитить... слышишь?

– Ваше величество, – ответил кардинал уклончиво, – он все равно умрет. Да и чем могли бы мы помочь? Только себе повредим: герцог Моро – наш союзник...

– Герцог Моро – злодей, вот что-да, человекоубийца! – воскликнул король, и глаза его сверкнули разумным гневом.

– Что же делать? – молвил Бриссоне, пожимая плечами, с тонкой, снисходительной усмешкой. – Герцог Моро не хуже, не лучше других. Политика, государь! Все мы люди, все человеки...

Кравчий поднес королю кубок французского вина. Карл выпил его с жадностью. Вино оживило его и рассеяло мрачные мысли.

Вместе с кравчим вошел вельможа от герцога с приглашением на ужин. Король отказался. Посланный умолял; но, видя, что просьбы не действуют, подошел к Тибо и шепнул ему что-то на ухо. Тот кивнул головой в знак согласия и, в свою очередь, шепнул королю: – Ваше величество, мадонна Лукреция... – А? Что?.. Что такое?.. Какая Лукреция? – Та, с которой вы изволили танцевать на вчерашнем балу.

– Ах, да, как же, как же... Помню... Мадонна Лукреция... Прехорошенькая!.. Ты говоришь, будет на ужине? – Будет непременно и умоляет ваше величество... – Умоляет... Вот как! Ну что же, Тибо? А? Как ты полагаешь Я, пожалуй... Все равно... Куда ни шло!.. Завтра в поход... В последний раз... Поблагодарите герцога, мессир, – обратился он к посланному, – и скажите, что я того... а?.. пожалуй... Король отвел Тибо в сторону: – Послушай, кто такая эта мадонна Лукреция? – Любовница Моро, ваше величество. – Любовница Моро, вот как! Жаль... – Сир! только словечко, – и все мигом устроим. Если угодно, сегодня же. – Нет, нет! Как можно?.. Я гость... – Моро будет польщен, государь. Вы здешних людишек не знаете...

– Ну, все равно, все равно. Как хочешь. Твое дело... – Да уж будьте спокойны, ваше величество. Только словечко.

– Не спрашивай... Не люблю... Сказал Ничего не знаю... Как хочешь... Тибо молча и низко поклонился.

Сходя с лестницы, король опять нахмурился и с беспомощным усилием мысли потер себе лоб:

– Бриссоне, а, Бриссоне... Как ты думаешь?.. Что бишь я хотел сказать?.. Ах, да, да... Заступиться... Невинный... Обида... Так нельзя. Рыцарь!..

– Сир, оставьте эту заботу, право же: нам теперь не до него. Лучше потом, когда мы вернемся из похода, победив турок, завоевав Иерусалим.

– Да, да, Иерусалим! – пробормотал король, и глаза его расширились, на губах выступила бледная и неясная мечтательная улыбка.

– Рука Господня ведет ваше величество к победам, – продолжал Бриссоне, – перст Божий указывает путь крестоносному воинству.

– Перст Божий! Перст Божий! – повторил Карл VIII торжественно, подымая глаза к небу.

Восемь дней спустя молодой герцог скончался. Перед смертью он молил жену о свидании с Леонардо. Она отказала ему: мона Друда уверила Изабеллу, что порченые всегда испытывают неодолимое и пагубное для них желание видеть того, кто навел на них порчу. Старуха усердно мазала больного скорпионой мазью, врачи до конца мучили его кровопусканиями. Он умер тихо.

– Да будет воля Твоя! – было последними словами его. Моро велел перенести из Павии в Милан и выставить в соборе тело усопшего.

Вельможи собрались в Миланский замок, Лодовико, уверяя, что безвременная кончина племянника причиняет ему неимоверную скорбь, предложил объявить герцогом маленького Франческо, сына Джан-Галеаццо, законного наследника. Все воспротивились и, утверждая, что не следует доверять несовершеннолетнему столь великой власти, от имени народа упрашивали Моро принять герцогский жезл.

Он лицемерно отказывался; наконец, как бы поневоле уступил мольбам.

Принесли пышное одеяние из золотой парчи; новый герцог облекся в него, сел на коня и поехал в церковь Сант-Диброджо, окруженный толпою приверженцев, оглашавших воздух криками: «да здравствует Моро, да здравствует герцог!» – при звуке труб, пушечных выстрелах, звоне колоколов и безмолвии народа. На Торговой площади с лоджии дельи-Озии, на южной стороне дворца Ратуши, в присутствии старейшин, консулов, именитых граждан и синдиков, прочитана была герольдом «привилегия», дарованная герцогу Моро вечным Августом Священной Римской Империи, Максимилианом:

– «*Maximilianus divina favente dementia Romanorum Rex per Augustus* – все области, земли, города, селения, замки и крепости, горы, пастбища и равнины, леса, луга, пустоши, реки, озера, охоты, рыбные ловли, солончаки, руды, владения вассалов, маркизов, графов, баронов, монастыри, церкви, приходы – всех и все даруем тебе, Лодовико Сфорца, и наследникам твоим, утверждаем, назначаем, возвышаем, избираем тебя и сыновей твоих и внуков, и правнуков в самодержавные власти Ломбардии до скончания веков».

Через несколько дней объявлено было торжественное перенесение в собор величайшей святыни Милана, одного из тех гвоздей, коими распят был Господь на кресте. Моро надеялся угодить народу и укрепить свою власть этим празднеством.

Ночью, на площади Аренго, перед винным погребом Тибальдо, собралась толпа. Здесь был Скарабулло лудильщик, златошвей Маскарелло, скорняк Мазо, башмачник Корболо и выдувальщик стекла Горгольо. Посредине толпы, стоя на бочонке, доминиканец фра Тимотео проповедовал:

– Братья, когда св. Елена под капищем богини Венеры обрела живоносное Древо Креста и прочие орудия страстей Господних, зарытые в землю язычниками, – император Константин, взяв единый от святейших и страшных гвоздей сих, велел кузнецам заделать его в удила боевого коня своего, да исполнится слово пророка Захарии: «будет сущее над конскою уздою святыня Господу». И сия неизреченная святыня даровала ему победу над врагами и супостатами Римской Империи. По смерти кесаря гвоздь был утрачен и через долгое время найден великим святителем, Амвросием Медиоланским в городе Риме, в лавке некоего Паолино, торговца старым железом, перевезен в Милан, и с той поры наш город обладает самым драгоценным и святейшим из гвоздей – тем, коим пронзена правая длань всемогущего Бога на Древе Спасения. Точная мера длины его – пять ончий с половиной. Будучи длиннее и толще римского, имеет он и острие, тогда как римский притушен. В течение трех часов находился наш гвоздь во длани Спасителя, как это доказывает ученый падре Алессіо многими тончайшими силлогизмами.

Фра Тимотео остановился на мгновение, потом воскликнул громким голосом, воздевая руки к небу:

– Ныне же, возлюбленные мои, совершается великое непотребство: Моро, злодей, чело-векоубийца, похититель престола, соблазняя народ нечестивыми праздниками, святейшим гвоздем укрепляет свой шаткий престол! Толпа зашумела.

– И знаете ли вы, братья мои, – продолжал монах, – кому поручил он устройство машины для вознесения гвоздя в главном куполе собора над алтарем?

– Кому?

– Флорентийцу Леонардо да Винчи!

– Леонардо? Кто такой? – спрашивали одни.

– Знаем, – отвечали другие, – тот самый, что молодого герцога плодами отравил...

– Колдун, еретик, безбожник!

– А как же слышал я, братцы, – робко заступился Корболо, – будто бы этот мессер Леонардо человек добрый? Зла никому не делает, не только людей, но и всякую тварь милует...

– Молчи, Корболо! Чего вздор мелешь? – Разве может быть добрым колдун?

– О, чада мои, – объяснил фра Тимотео, – некогда скажут люди и о великом Обольстителе, о Грядущем во тьме: «он добр, он благ, он совершенен», – ибо лик его подобен лику Христа, и дан ему будет голос уветливый, сладостный, как звук цевницы. И многих соблазнит милосердием лукавым. И созовет с четырех ветров неба племена и народы, как куропатка обманчивым криком созывает в гнездо свое чужой выводок. Бодрствуйте же, братья мои! Се ангел мрака князь мира сего, именуемый Антихристом, приидет в образе человеческом: флорентинец Леонардо – слуга и предтеча Антихриста!

Выдувальщик Стекла Горгольо, который ничего не слыхивал о Леонардо, молвил с уверенностью: – Истинно так! Он душу дьяволу продал и собственной кровью договор подписал.

– Заступись, Мать Пречистая, и помилуй! – верещала торговка Барбачча. – Намедни сказывала девка Гамма – в судомойках она у палача тюремного – будто бы мертвые тела этот самый Леонардо, не к ночи будь помянут, с виселиц ворует, ножами режет, потрошит, кишки выматывает...

– Ну, это не твоего ума дела, Барбачча, – заметил с важностью Корболо, – это наука, именуемая анатомией...

– Машину, говорят, изобрел, чтобы по воздуху летать на птичьих крыльях, – сообщил златошвей Маскарелло.

– Древний крылатый змий Велиар восстает на Бога, – пояснил опять фра Тимотео. – Симон Волхв тоже поднялся на воздух, но был низвержен апостолом Павлом.

– По морю ходит, как по суку, – объявил Скарабулло, – «Господь, мол, ходил по воде, и я пойду», – вот как богохульствует!

– В стеклянном колоколе на дно моря опускается, – добавил скорняк Мазо.

– И, братцы, не верьте! На что ему колокол? Обернется рыбой и плавает, обернется птицей и летает! – решил Горгольо.

– Вишь ты, оборотень окаянный, чтоб ему издохнуть! – И чего отцы инквизиторы смотрят? На костер бы! – Кол ему осиновый в горло!

– Увы, увы! Горе нам, возлюбленные! – возопил фра Тимотео. – Святейший гвоздь, святейший гвоздь – у Леонардо!

– Не быть тому! – закричал Скарабулло, сжимая кулаки, – умрем, а не дадим святыни на поругание. Отнимем гвоздь у безбожника!

– Отомстим за гвоздь! Отомстим за убитого герцога!

– Куда вы, братцы? – всплеснул руками башмачник. – Сейчас обход ночной стражи. Капитан Джустиции...

– К черту капитана Джустиции! Ступай под юбку к жене своей, Корболо, ежели трусишь! Вооруженная палками, кольями, бердышами, камнями, с криком и бранью, двинулась толпа по улицам.

Впереди шел монах, держа распятие в руках, и пел псалмы: «Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его».

«Как исчезает дым, да исчезнут, как воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Господня».

Смоляные факелы дымились и трещали. В их багровом отблеске бледнел опрокинутый серп одинокого месяца. Меркли тихие звезды.

Леонардо работал в своей мастерской над машиной для подъема святейшего гвоздя. Зороастро делал круглый ящик со стеклами и золотыми лучами, в котором должна была храниться святыня. В темном углу мастерской сидел Джованни Бельтраффио, изредка поглядывая на учителя.

Погруженный в исследование вопроса о передаче силы посредством блоков и рычагов, Леонардо забыл машину.

Только что кончил он сложное вычисление. Внутренняя необходимость разума – закон математики оправдывал внешнюю необходимость природы-закон механики: две великие тайны сливались в одну, еще большую.

– Никогда не изобретут люди, – думал он с тихой улыбкой, – ничего столь простого и прекрасного, как явление природы. Божественная необходимость принуждает законами своими вытекать из причины следствие кратчайшим путем.

В душе его было знакомое чувство благоговейного изумления перед бездною, в которую он заглядывал, – чувство, не похожее ни на одно из других доступных людям чувств. На полях, рядом с чертежом подъемной машины для святейшего гвоздя, рядом с цифрами и вычислениями, написал он слова, которые в сердце его звучали, как молитва.

«О дивная справедливость Твоя, первый Двигатель! Ты не пожелал лишить никакую силу порядка и качества необходимых действий, ибо, ежели должно ей подвинуть тело на сто локтей, и на пути встречается преграда. Ты повелел, чтобы сила удара произвела новое движение, получая замену непройденного пути, различными толчками и сотрясениями, – о, божественная необходимость Твоя, первый Двигатель!»

Раздался громкий стук в наружную дверь дома, пение псалмов, брань и вопль разъяренной толпы.

Джованни и Зороастро побежали узнать, что случилось.

Стряпуха Матурина, только что вскочившая, с постели, полуодетая, растрепанная, бросилась в комнату с криком:

– Разбойники! Разбойники! Помогите!.. Матерь Пресвятая, помилуй нас!..

Вошел Марко д'Оджоне с аркебузом в руках и поспешно запер ставни на окнах.

– Что это, Марко? – спросил Леонардо. – Не знаю. Какие-то негодяи ломаются в дом. Должно быть, монахи взбунтовали чернь.

– Чего они хотят? – Черт их разберет, сволочь полоумную! Святейшего гвоздя требуют, – у меня его нет: он в ризнице у архиепископа Арнольдо.

– Я и то говорил. Не слушают, беснуются. Вашу милость – отравителем герцога Джан-Галеаццо называют, колдуном и безбожником. Крики на улице усиливались:

– Отоприте! Отоприте! Или гнездо ваше проклятое спалим! Подождите, доберемся до шкуры твоей, Леонардо, Антихрист окаянный!

– Да воскреснет Бог и да расточатся враги его! – возглашал фра Тимотео, и с пением его сливался пронзительный свист шалуна Фарфаниккио.

В мастерскую вбежал маленький слуга Джакопо, вскочил на подоконник, открыл ставню и хотел выпрыгнуть на двор, но Леонардо удержал его за край платья. – Куда ты?

– За беровьеррами: стража капитана Джустиции в этот час неподалеку проходит.

– Что ты? Бог с тобою, Джакопо, тебя поймают и убьют.

– Не поймают! Я через стену к тетке Трулле в огород, потом в канаву с лопухом, и задворками... А если и убьют, лучше пусть меня, чем вас!

Оглянувшись на Леонардо с нежной и храброй улыбкой, мальчик вырвался из рук его, выскочил в окно, крикнул со двора: «выручу, не бойтесь!» – и захлопнул ставню.

– Шалун, бесенок, – покачала головой Матурина, – а вот в беде-то пригодился. И вправду, пожалуй, выручит... Зазвенели разбитые стекла в одном из верхних окон. Стряпуха жалобно вскрикнула, всплеснула руками, выбежала из комнаты, нащупала в темноте крутую лестницу

погреба, скатилась по ней и, как потом сама рассказывала, залезла в пустую винную бочку, где и просидела бы до утра, если бы ее не вытащили. Марко побежал наверх запирать ставни. Джованни вернулся в мастерскую, хотел опять сесть в свой угол, с бледным, убитым и ко всему равнодушным лицом, но посмотрел на Леонардо, подошел и вдруг упал перед ним на колени. – Что с тобой? О чем ты, Джованни? – Они говорят, учитель... Я знаю, это неправда... Я не верю... Но скажите... ради Бога, скажите мне сами!.. И не кончил, задыхаясь от волнения.

– Ты сомневаешься, – молвил Леонардо с печальной усмешкой, – правду ли они говорят, что я убийца? – Одно слово, только слово, учитель, из ваших уст!.. – Что я могу тебе сказать, друг мой? И зачем? Все равно ты не согласишься, если мог усомниться...

– О, мессер Леонардо! – воскликнул Джованни. – Я так измучился, я не знаю, что со мной... я с ума схожу, учитель... Помогите! Сжальтесь! Я больше не могу... Скажите, что это неправда!.. Леонардо молчал.

Потом, отвернувшись, молвил дрогнувшим голосом: – И ты с ними, и ты против меня!..

Послышались такие удары, что весь дом задрожал: лудильщик Скарабулло рубил дверь топором.

Леонардо прислушался к воплям черни, и сердце его сжалось от знакомой тихой грусти, от чувства беспредельного одиночества.

Он опустил голову; глаза его упали на строки, только что им написанные:

«О дивная справедливость твоя, первый Двигатель!» «Так, – подумал он, – все благо, все от Тебя!» Он улыбнулся и с великой покорностью повторил слова умирающего герцога Джан-Галеаццо: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе».

Шестая книга

Дневник Джованни Бельтраффио

Я поступил в ученики к флорентийскому мастеру Леонардо да Винчи 25 марта 1494 года. Вот порядок учения: перспектива, размеры и пропорции человеческого тела, по образцам хороших мастеров, рисование с натуры.

Сегодня товарищ мой Марко д'Оджоне дал мне книгу о перспективе, записанную со слов учителя. Начинается так:

«Наибольшую радость телу дает свет солнца; наибольшую радость духу – ясность математической истины. Вот почему науку о перспективе, в которой созерцание светлой линии – величайшая отрада глаз – соединяется с ясностью математики – величайшею отрадой ума, – должно предпочитать всем остальным человеческим исследованиям и наукам. Да просветит же меня сказавший о Себе: „Я семь Свет истинный“, и да поможет изложить науку о перспективе, науку о Свете. И я разделяю эту книгу на три части: первая – уменьшение вдаль объема предметов, вторая – уменьшение ясности цвета, третья – уменьшение ясности очертаний».

Мастер заботится обо мне, как о родном: узнав, что я беден, не захотел принять условленной ежемесячной платы.

* * *

Учитель сказал:

– Когда ты овладеешь перспективой и будешь знать наизусть пропорции человеческого тела, наблюдай усердно во время прогулок движения людей – как стоят они, ходят, разговаривают и спорят, хохочут и дерутся, какие при этом лица у них и у тех зрителей, которые желают разнять их, и тех, которые молча наблюдают; все это отмечай и зарисовывай карандашом, как можно скорее, в маленькую книжку из цветной бумаги, которую неотлучно имей при себе, когда же наполнится она, заменяй другою, а старую откладывай и береги. Помни, что не следует уничтожать и стирать эти рисунки, но хранить, ибо движения тел так бесконечны в природе, что никакая человеческая память не может их удержать. Вот почему смотри на эти наброски, как на своих Лучших наставников и учителей.

Я завел себе такую книжку и каждый вечер записываю слышанные в течение дня достопамятные слова учителя.

* * *

Сегодня встретил в переулке лоскутниц, недалеко от собора, дядю моего, стекольного мастера Освальда Ингрима. Он сказал мне, что отрекается от меня, что я погубил душу свою, поселившись в доме безбожника и еретика Леонардо. Теперь я совсем один: нет у меня никого на свете – ни родных, ни друзей – кроме учителя. Я повторяю прекрасную молитву Леонардо: «да просветит меня Господь, Свет мира, и да поможет изучить перспективу, науку о свете Его». Неужели это слова безбожника?

* * *

Как бы ни было мне тяжело, стоит взглянуть на лицо его, чтобы на душе сделалось легче и радостнее. Какие у него глаза – ясные, бледно-голубые и холодные, точно лед; какой тихий,

приятный голос, какая улыбка! Самые злые, упрямые люди не могут противиться вкрадчивым словам его, если он желает склонить их на «да» или «нет». Я часто подолгу смотрю на него, как он сидит за рабочим столом, погруженный в задумчивость, и привычным медленным движением тонких пальцев перебирает, разглаживает длинную, вьющуюся и мягкую, как шелк девичьих кудрей, золотистую бороду. Ежели с кем-нибудь говорит, то обыкновенно прищуривает один глаз с немного лукавым, насмешливым и добрым выражением: кажется тогда, взор его из-под густых нависших бровей проникает в самую душу.

Одевается просто; не терпит пестроты в нарядах и новых мод. Не любит никаких духов. Но белье у него из тонкого рейнского полотна, всегда белое, как снег. Черный бархатный берет без всяких украшений, медалей и перьев. Поверх черного камзола – длинный до колен темно-красный плащ с прямыми складками, старинного покроя. Движения плавны и спокойны. Несмотря на скромное платье, всегда, где бы ни был он, среди вельмож или в толпе народа, у него такой вид, что нельзя не заметить его: не похож ни на кого. Все умеет, знает все: отличный стрелок из лука и арбалета, наездник, пловец, мастер фехтования. Однажды видел я его в состязании с первыми силачами народа: игра состояла в том, что подбрасывали в церкви маленькую монету так, чтобы она коснулась самой середины купола. Мессер Леонардо победил всех ловкостью и силой.

Он левша. Но левою рукою, с виду нежной и тонкой, как у молодой женщины, стгибает железные подковы, перекручивает язык медного колокола и ею же, рисуя лицо прекрасной девушки, наводит прозрачные тени прикосновениями угля или карандаша, легкими, как трепетания крыльев бабочки.

* * *

Сегодня после обеда кончил при мне рисунок, который изображает склоненную голову Девы Марии, внимающей благовестию Архангела. Из-под головной повязки, украшенной жемчужом и двумя голубиными крыльями, стыдливо играя с веянием ангельских крыл, выбиваются пряди волос, заплетенных, как у флорентийских девушек, в прическу, по виду небрежную, на самом деле, – искусную. Красота этих вьющихся кудрей пленяет, как странная музыка. И тайна глаз ее, которая как будто просвечивает сквозь опущенные веки с густой тенью ресниц, похожа на тайну подводных цветов, видимых сквозь прозрачные волны, но недостижимых.

Вдруг в мастерскую вбежал маленький слуга Джакопо и, прыгая, хлопая в ладоши, закричал:

– Уроды! Уроды! Мессер Леонардо, ступайте скорее на кухню! Я привел вам таких красавчиков, что останетесь довольны! – Откуда? – спросил учитель.

– С паперти у Сант-Амброджо. Нищие из Бергамо, Я сказал, что вы угостите их ужином, если они позволят снять с себя портреты.

– Пусть подождут. Я сейчас кончу рисунок. – Нет, мастер, они ждать не будут; назад в Бергамо до ночи торопятся. Да вы только взгляните – не пожалее! Стоит, право же, стоит! Вы себе представить не можете, что за чудовища!

Покинув неоконченный рисунок Девы Марии, учитель пошел в кухню. Я за ним.

Мы увидели двух чинно сидевших на лавке братьев-стариков, толстых, точно водянкою раздутых, с отвратительными, отвислыми опухолями громадных зобов на шее – болезнью, обычною среди обитателей Бергамских гор, – и жену одного из них, сморщенную, худенькую старушонку, по имени Паучиха, вполне достойную этого имени.

Лицо Джакопо сияло гордостью:

– Ну, вот, видите, – шептал он, – я же говорил, что вам понравится! Я уж знаю, что нужно...

Леонардо подсел к уродам, велел подать вина, стал их потчевать, любезно расспрашивать, смешить глупыми побасенками. Сперва они дичились, поглядывали недоверчиво, должно быть, не понимая, зачем их сюда привели. Но когда он рассказал им площадную новеллу о мертвом жиде, изрезанном на мелкие куски своим соотечественником, чтобы избежать закона, воспрещавшего погребение жидов на земле города Болоньи, замаринованном в бочку с медом и ароматами, отправленном в Венецию с товарами на корабле и нечаянно съеденном одним флорентийским путешественником-христианином, – Паучиху стал разбирать смех. Скоро все трое, опьянев, захохотали с отвратительными ужимками. Я в смущении потупил глаза и отвернулся, чтобы не видеть. Но Леонардо смотрел на них с глубоким, жадным любопытством, как ученый, который делает опыт. Когда уродство их достигло высшей степени, взял бумагу и начал рисовать эти мерзостные рожи тем самым карандашом, с той же любовью, с которой только что рисовал божественную улыбку Девы Марии.

Вечером показывал мне множество карикатур не только людей, но и животных – страшные лица, похожие на те, что преследуют больных в бреду. В зверском мелькает человеческое, в человеческом зверское, одно переходит в другое легко и естественно, до ужаса. Я запомнил морду дикобраза с колючими ошестинившимися иглами, с отвислою нижнею губою, болтающеюся, мягкой и тонкою, как тряпка, обнажившею в гнусной человеческой улыбке продолговатые, как миндалины, белые зубы. Я также никогда не забуду лица старухи с волосами, вздернутыми кверху в дикую, безумную прическу, с жидкою косичкою сзади, с гигантским лысым лбом, расплюснутым носом, крохотным, как бородавка, и чудовищно толстыми губами, напоминавшими те дряблые, осклизлые грибы, которые растут на гнилых пнях. И всего ужаснее то, что эти уроды кажутся знакомыми, как будто где-то уже видел их, и что-то есть в них соблазнительное, что отталкивает и в то же время притягивает, как бездна. Смотришь, ужасаешься – и нельзя оторвать от них глаз так же, как от божественной улыбки Девы Марии. И там, и здесь – удивление, как перед чудом.

* * *

Чезаре да Сесто рассказывает, что Леонардо, встретив где-нибудь в толпе на улице любопытного уродца, в течение целого дня может следовать за ним и наблюдать, стараясь запомнить лицо его. Великое уродство в людях, говорит учитель, так же редко и необычайно, как великая прелесть: только среднее – обычно.

Он изобрел странный способ запоминать человеческие лица. Полагает, что носы у людей бывают трех родов: или прямые, или с горбинкой, или с выемкой. Прямые могут быть или короткими, или длинными, с концами тупыми или острыми. Горбина находится или вверху носа, или внизу, или посередине – и так далее для каждой части лица. Все эти бесчисленные подразделения, роды и виды, отмеченные цифрами, заносятся в особую разграфленную книжку. Когда художник где-нибудь на прогулке встречается лицо, которое желает запомнить, ему стоит лишь отметить значком соответствующий род носа, лба, глаз, подбородка и, таким образом, посредством ряда цифр закрепляется в памяти как бы мгновенный снимок с живого лица. На свободе, вернувшись домой, соединяет эти части в один образ.

Придумал также маленькую ложечку для безукоризненно точного, математического измерения количества краски при изображении постепенных, глазом едва уловимых, переходов света в тень и тени в свет. Если, например, для того, чтобы получить определенную степень гу стоты тени, нужно взять десять ложечек черной краски, то для получения следующей степени должно взять одиннадцать, потом двенадцать, тринадцать и так далее. Каждый раз, зачерпнув краски, срезавают горку, сравнивают ее стеклянным наугольником: так на рынке равняют меру, насыпанную зерном.

* * *

Марко д'Оджоне – самый прилежный и добросовестный из учеников Леонардо. Работает, как волк, выполняет с точностью все правила учителя; но, по-видимому, чем больше старается, тем меньше успевает. Марко упрям: что забрал себе в голову, и гвоздем не вышибешь. Убежден, что «терпение и труд все перетрут», – и не теряет надежды сделаться великим художником. Больше всех нас радуется изобретениям учителя, которые сводят искусство к механике. Намедни, захватив с собой книжечку с цифрами для запоминания лиц, отправился на площадь Бролетто, выбрал лица в толпе и отметил их значками в таблице. Но когда вернулся домой, сколько ни бился, никак не мог соединить отдельные части в живое лицо. Такое же горе вышло у него с ложечкой для измерения черной краски: несмотря на то, что он в своей работе соблюдает математическую точность, тени остаются непрозрачными и неестественными, так же, как лица деревянными и лишенными всякой прелести. Марко объясняет это тем, что не выполнил всех правил учителя, и удваивает усердие. А Чезаре да Сесто злорадствует.

– Добрейший Марко, – говорит он, – истинный мученик искусства! Пример его доказывает, что все эти хваленые правила, и ложечки, и таблицы для носов ни к черту не годятся. Мало знать, как рождаются дети, для того, чтобы родить. Леонардо только себя и других обманывает: говорит одно, делает другое. Когда пишет, не думает ни о каких правилах, а только следует вдохновению. Но ему недостаточно быть великим художником, он хочет быть и великим ученым, хочет примирить искусство и науку, вдохновение и математику. Я, впрочем, боюсь, что, погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймает!

Быть может, в словах Чезаре есть доля правды. Но за что он так не любит учителя? Леонардо прощает ему все, охотно выслушивает его злые, насмешливые речи, ценит ум его и никогда не сердится. Я наблюдаю, как он работает над Тайной Вечерей. Рано поутру, только что солнце встанет, уходит из дому, отправляется в монастырскую трапезную и в течение целого дня, пока не стемнеет, пишет, не выпуская кисти из рук, забывая о пище и питье. А то проходит неделя, другая – не дотрагивается до кистей; но каждый день простаивает два, три часа на подмостках перед картиной, рассматривая и обсуждая то, что сделано; иногда в полдень, в самую жару, бросая начатое дело, по опустевшим улицам, не выбирая теневой стороны, как будто увлекаемый невидимой силой, бежит в монастырь, взлезает на подмости, делает два, три мазка и тотчас уходит.

* * *

Все эти дни работал над головой апостола Иоанна. Сегодня должен был кончить. Но, к удивлению моему, остался дома и с утра, вместе с маленьким Джокпо, занялся наблюдением над полетом шмелей, ос и мух. Так погружен в изучение устройства их тела и крыльев, словно от этого зависят судьбы мира. Обрадовался, как Бог вещь чему, когда нашел, что задние лапки служат мухам вместо руля. По мнению учителя, это чрезвычайно полезно и важно для изобретения летательной машины. Может быть. Но все же обидно, что голова апостола Иоанна покинута для исследования мушиных лапок.

* * *

Сегодня новое горе. Мухи забыты, как и Тайная Вечеря. Сочиняет сложный, тонкий узор для герба несуществующей, но предполагаемой герцогом, миланской академии живописи – четырехугольник из переплетенных, без конца, без начала, свивающихся веревочных узлов,

которые окружают латинскую надпись: *Leonardi Vinci Academia*. Так поглощен отделкой узора, как будто ничего более в мире не существует, кроме этой трудной и бесполезной игры. Кажется, никакие силы не могли бы его оторвать от нее. Я не вытерпел и решил напомнить о неоконченной голове апостола Иоанна. Он пожал плечами и, не подымая глаз от веревочных узлов, процедил сквозь зубы: – Не уйдет, успеем. Я иногда понимаю злобу Чезаре.

Герцог Моро поручил ему устройство во дворце слуховых труб, скрытых в толще стен, так называемого Дионисиева уха, которое позволяет государю подслушивать из одного покоя то, что говорится в другом. Сначала мастер с большим увлечением принялся за проведение труб. Но скоро, по обыкновению, охладел и стал откладывать под разными предлогами. Герцог торопит и сердится. Сегодня поутру несколько раз присылали из дворца. Но учитель занят новым делом, которое кажется ему не менее важным, чем устройство Дионисиева уха, – опытами над растениями: обрезав корни у тыквы и оставив один маленький корешок, обильно питает его водой. К немалой радости его, тыква не засохла, и мать, как он выражается, благополучно выкормила всех своих детей – около шестидесяти длинных тыкв. С каким терпением, с какой любовью следил он за жизнью этого растения! Сегодня до зари просидел на огородной грядке, наблюдая, как широкие листья пьют ночную росу. «Земля, – говорит он, – поит растения влагой, небо росой, а солнце дает им душу», ибо он полагает, что не только у человека, но и у животных, даже у растений есть душа – мнение, которое фра Бенедетто считает весьма еретическим.

* * *

Любит всех животных. Иногда целыми днями наблюдает и рисует кошек, изучает их нравы и привычки: как они играют, дерутся, спят, умывают морду лапками, ловят мышей, выгибают спину и ерошатся на собак. Или с таким же любопытством смотрит сквозь стенки большого стеклянного сосуда на рыб, слизняков, волосатиков, каракатиц и всяких других водяных животных. Лицо его выражает глубокое, тихое удовлетворение, когда они дерутся и пожирают друг друга.

* * *

Сразу тысячи дел. Не кончив одного, берется за другое. Впрочем, каждое из дел похоже на игру, каждая игра – на дело. Разнообразен и непостоянен. Чезаре говорит, что скорее потекут реки вспять, чем Леонардо сосредоточится на одном каком-нибудь замысле и доведет его до конца. Называет учителя самым великим из беспутных людей, уверяя, что из всех необъятных трудов его не выйдет никакого толку. Леонардо, будто бы, написал сто двадцать книг «О природе – *Delie Cose Naturah*». Но все это случайные отрывки, отдельные заметки, разрозненные клочки бумаги – более пяти тысяч листков в таком страшном беспорядке, что сам он иногда не может разобраться, ищет какой-нибудь нужной заметки и не находит.

* * *

Какое у него неутолимое любопытство, какой добрый, вещий глаз для природы! Как он умеет замечать незаметное! Всюду удивляется радостно и жадно, как дети, как первые люди в раю.

Иногда о самом будничном такое слово скажет, что потом, хоть сто лет живи, не забудешь – прилипнет к памяти и не отвяжется.

Намедни, войдя в мою келью, учитель сказал: «Джованни, обратил ли ты внимание на то, что маленькие комнаты сосредоточивают ум, а большие – возбуждают его к деятельности?»

Или еще: «В тенистом дожде очертания предметов кажутся яснее, чем в солнечном».

А вот из вчерашнего делового разговора с литейным мастером о каких-то заказанных ему герцогом военных орудиях: «Взрыв пороха, сжатого между тарелью бомбарды и ядром, действует, как человек, который, упершись задом в стену, изо всей силы толкал бы перед собой руками тяжесть».

Говоря однажды об отвлеченной механике, сказал: «Сила всегда желает победить свою причину и, победив, умереть. Удар – сын Движения, внук Силы, а общий прадед – Вес».

В споре с одним архитектором воскликнул с нетерпением: «Как же вы не понимаете, мессере? Это ясно, как день. Ну, что такое арка? Арка не что иное, как сила, рождаемая двумя соединенными и противоположными слабостями». Архитектор даже рот разинул от удивления. А для меня все в их разговоре сразу сделалось ясным, как будто в темную комнату свечку внесли.

Опять два дня работы над головою апостола Иоанна. Но, увы, что-то потеряно в бесконечной возне с мушинными крыльями, тыквою, кошками, Дионисиевым ухом, узором из веревочных узлов и тому подобными важными делами. Опять не кончил, бросил и, по выражению Чезаре, весь ушел в геометрию, как улитка в свою раковину, полный отвращения к живописи. Говорит, будто бы самый запах красок, вид кистей и полотна ему противны.

Вот так мы и живем, по прихоти случая, изо дня в день, предавшись воле Божьей. Сидим у моря и ждем погоды. Хорошо, что еще до летательной машины не дошло, а то пиши пропало – так зароемся в механику, что только мы его и видали!

* * *

Я заметил, что всякий раз, как после долгих отговорок, сомнений и колебаний он приступает, наконец, к работе, берет кисть в руки, – чувство, подобное страху, овладевает им. Всегда недоволен тем, что сделал. В созданиях, которые кажутся другим пределом совершенства, замечает ошибки. Стремится все к высшему, к недостижаемому, к тому, чего рука человеческая, как бы ни было искусство ее бесконечно, выразить не может. Вот почему почти никогда не кончает.

* * *

Приходил сегодня жид-барышник продавать лошадей. Мастер хотел купить гнедого жеребца. Жид начал его уговаривать, чтобы купил вместе с жеребцом кобылу, и так умолял, настаивал, егзил и божился, что Леонардо, который любит лошадей и знает в них толк, наконец, рассмеялся, махнул рукою, взял кобылу и позволил себя обмануть, чтобы только от жида отделаться. Я смотрел, слушал и недоумевал.

– Чему ты удивляешься? – объяснил мне потом Чезаре. – Так всегда: первый встречный может сесть ему на шею. Ни в чем нельзя на него положиться. Ничего твердо решить не умеет. Все надвое-и нашим, и вашим, и да, и нет. Куда ветер подует. Никакой крепости, никакого мужества. Весь мягкий, зыбкий, податливый, точно без костей, точно расслабленный, несмотря на всю свою силу, Играя, железные подковы гнет, рычаги придумывает, чтобы крестильницу Сан-Джованни на воздух поднять, какворобьиное гнездо, а для настоящего дела, где воля нужна, – соломинки не подымет, божьей коровки обидеть не посмеет!..

Чезаре еще долго бранился, явно преувеличивал и даже клеветал. Но я чувствовал, что в словах его с ложью смешана правда.

Заболел Андреа Салаино. Учитель ухаживает за ним, ночей не спит, просиживая у изголовья. Но о лекарствах слушать не хочет. Марко д'Оджоне тайно принес больному каких-то пилюль. Леонардо нашел их и выбросил в окно. Когда же сам Андреа заикнулся, что хорошо бы пустить кровь, – он знает одного цирюльника, который отлично отискивает жилы, – учитель не на шутку рассердился, обругал всех докторов нехорошими словами и, между прочим, сказал: – Советую тебе думать не о том, как лечиться, а как сохранить здоровье, чего ты достигнешь тем лучше, чем более будешь остерегаться врачей, лекарства которых подобны нелепым составам алхимиков. И прибавил с веселой, простодушно-лукавой усмешкой:

– Еще бы им, обманщикам, не богатеть, когда всякий только для того и старается накопить побольше денег, чтобы отдать их врачам, разрушителям человеческой жизни!

Учитель забавляет больного смешными рассказами, баснями, загадками, до которых Салаино большой охотник. Я смотрю, слушаю и дивлюсь на учителя. Какой он веселый!

Вот для примера некоторые из этих загадок: «Люди будут жестко бить то, что есть причина их жизни. – Молотьба хлеба».

«Леса произведут на свет детей, которым суждено истреблять своих родителей. – Ручки топоров». «Шкуры звериные заставят людей выйти из молчания, клясться и кричать. – Игра в кожаные мячики».

После долгих часов, проведенных в изобретении военных орудий, в математических выкладках или работе над Тайною Вечерей, утешается этими загадками, как ребенок. Записывает их в рабочих тетрадях рядом с набросками великих будущих произведений или только что открытыми законами природы.

* * *

Сочинил и нарисовал в прославление щедрости герцога странную, сложную аллегию, на которую потратил немало труда: в образе фортуны, Моро принимает под свою защиту отрока, убегающего от страшной Парки Бедности, с лицом Паучихи, покрывает его мантией и золотым ски петром грозит чудовищной богине. Герцог доволен рисунком и хочет, чтобы Леонардо исполнил его красками на одной из стен дворца, эти аллегии вошли в моду при дворе. Кажется, они имеют больший успех, чем все остальные произведения учителя. Дамы, рыцари, вельможи пристают к нему, добиваются какой-нибудь замысловатой аллегорической картинки.

Для одной из двух главных наложниц герцога, графини Чечилии Бергамини, сочинил аллегию Зависти: дряхлая старуха с отвислыми сосцами, покрытая леопардовой шкурой, с колчаном ядовитых языков за плечами, едет верхом на человеческом острове, держа в руке кубок, наполненный змеями.

Пришлось ему сочинить и другую аллегию, тоже Зависти, для другой наложницы, Лукреции Кривелли, чтобы она не обиделась: ветвь орешника бьют палками и потрясают тогда именно, как доводит она плоды свои до совершенной зрелости. Рядом надпись: за благодеяния.

Наконец, и для супруги герцога, светлейшей мадонны Беатриче, надо было выдумать аллегию Неблагодарности: человек при восходящем солнце гасит свечу, которая служила ему ночью.

Теперь бедному мастеру ни днем, ни ночью нет покоя: заказы, просьбы, записочки дам сыплются на него; не знает, как отделаться.

Чезаре злится: «Все эти глупые рыцарские девизы, слащавые аллегии пристали разве какому-нибудь придворному блюдолизу, а не такому художнику, как Леонардо. Срам!» Я думаю, что он не прав. Учитель вовсе не помышляет о чести. Аллегориями забавляется он точно так же, как игрою в загадки и математическими истинами, божественной улыбкою Марии Девы и узором из веревочных узлов.

Он задумал и давно уже начал, но, по своему обыкновению, не кончил и Бог весть когда кончит «Книгу о живописи» – Trattato della Pittura. В последнее время много занимаясь со мною воздушною и линейною перспективою, светом и тенью, приводил из книги выдержки и отдельные мысли об искусстве. Я записываю здесь, что запомнил, Господь да наградит учителя за любовь и мудрость, с коими руководствует он меня на всех высоких путях благороднейшей науки! Пусть же те, кому попадутся в руки эти листки, помянут в молитве душу смиренного раба божьего, недостойного ученика, Джованни Бельтраффио, и душу великого мастера, флорентийца Леонардо да Винчи. Учитель говорит: «Все прекрасное умирает в человеке, но не в искусстве». «Тот, кто презирает живопись, презирает философское утонченное созерцание мира, ибо живопись есть законная дочь или, лучше сказать, внучка природы. Все, что есть, родилось от природы, и родило в свою очередь науку о живописи. Вот почему говорю я, что живопись внучка Природы и родственница Бога. Кто хулит живопись, тот хулит природу».

«Живописец должен быть всеобъемлющ. О, художник, твое разнообразие да будет столь же бесконечно, как явления природы. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих; но вечные создания Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым явлением природы». «Для того, кто владеет первыми, общими законами естественных явлений, для того, кто знает, – легко быть всеобъемлющим, ибо, по строению своему, все тела, как человека, так и животных, сходятся». «Берегись, чтобы алчность к приобретению золота не заглушила в тебе любви к искусству. Помни, что приобретение славы есть нечто большее, чем слава приобретения. Память о богатых погибает вместе с ними; память о мудрых никогда не исчезнет, ибо мудрость и наука суть законные дети своих родителей, а не побочные, как деньги. Люби славу и не бойся бедности. Подумай, как много великих философов, рожденных в богатстве, обрекали себя на добровольную нищету, дабы не осквернить души своей богатством». «Наука молодит душу, уменьшает горечь старости. Собирай же мудрость, собирай сладкую пищу для старости». «Я знаю таких живописцев, которые бесстыдно, на потеху черни, размалевывают картины свои золотом и лазурью, утверждая с высокомерной наглостью, что могли бы работать не хуже других мастеров, если бы им больше платили. О, глупцы! Кто же мешает им сделать что-нибудь прекрасное и объявить: вот эта картина в такую-то цену, эта дешевле, а эта совсем рыночная, – доказав таким образом, что они умеют работать на всякую цену».

* * *

«Нередко алчность к деньгам унижает и хороших мастеров до ремесла. Так, мой земляк и товарищ, флорентинец Перуджино дошел до такой поспешности в исполнении заказов, что однажды ответил с подмостков жене своей, которая звала его обедать: „подавай суп, а Я пока напишу еще одного святого“.

* * *

«Малого достигает художник, не сомневающийся. Благо тебе, если твое произведение выше, плохо, если оно наравне, но величайшее бедствие, если оно ниже, чем ты его ценишь, что бывает с теми, кто удивляется, как это Бог им помог сделать так хорошо».

«Терпеливо выслушивай мнения всех о твоей картине, взвешивай и рассуждай, правы ли те, кто укоряет тебя и находят ошибки; если да – исправь, если нет – сделай вид, что не слышал, и только людям, достойным внимания, доказывай, что они ошибаются.

Суждение врага нередко правдивее и полезнее, чем суждение друга. Ненависть в людях почти всегда глубже любви. Взор ненавидящего пронизательнее взора любящего. Истинный

друг все равно, что ты сам. Враг не похож на тебя, – вот в чем сила его. Ненависть освещает многое, скрытое от любви. Помни это и не презирай хулы врагов».

* * *

«Яркие краски пленяют толпу. Но истинный художник не толпе угождает, а избранным. Гордость и цель его не в блистающих красках, а в том, чтобы совершилось в картине подобное чуду: чтобы тень и свет сделали в ней плоское выпуклым. Кто, презирая тень, жертвует ею для красок, – похож на болтуна, который жертвует смыслом для пустых и громких слов».

* * *

«Больше всего берегись грубых очертаний. Да будут края твоих теней на молодом и нежном теле не мертвыми, не каменными, но легкими, неуловимыми и прозрачными, как воздух, ибо само тело человеческое прозрачно, в чем можешь убедиться, если через пальцы посмотришь на солнце. Слишком яркий свет не дает прекрасных теней. Бойся яркого света. В сумерки, или в туманные дни, когда Солнце в облаках, заметь, какая нежность и прелесть на лицах Мужчин и женщин, проходящих по тенистым улицам между темными стенами домов. Это самый совершенный свет. Пусть же тень твоя, мало-помалу исчезая в свете, тает, как дым, как звуки тихой музыки. Помни: между светом и мраком есть нечто среднее, двойственное, одинаково причастное и тому, и другому, как бы светлая тень или темный свет. Ищи его, художник: в нем тайна пленительной прелести!»

Так он сказал и, подняв руку, как бы желая запечатлеть эти слова в нашей памяти, повторил с неизъяснимым выражением:

– Берегитесь грубого и резкого. Пусть тени ваши тают, как дым, как звуки дальней музыки!

Чезаре, внимательно слушавший, усмехнулся, поднял глаза на Леонардо и что-то хотел возразить, но промолчал.

* * *

Спустя немного, говоря уже о другом, учитель сказал:

«Ложь так презренна, что, превознося величие Бога, унижает Его; истина так прекрасна, что, восхваляя самые малые вехи, облагораживает их. Между истиной и ложью такая же разница, как между мраком и светом».

Чезаре, что-то вспомнив, посмотрел на него испытующим взором.

– Такая же разница, как между мраком и светом? – повторил он. – Но не вы ли сами, учитель, только что утверждали, что между мраком и светом есть нечто среднее, двойственное, одинаково причастное и тому, и другому, как бы светлая тень или темный свет? Значит, – и между истиной и ложью?.. но нет, этого быть не может... Право же, мастер, ваше сравнение порождает в уме моем великий соблазн, ибо художник, ищущий тайны пленительной прелести в слиянии тени и света, чего доброго, спросит, не сливается ли истина с ложью так же, как свет с тенью...

Леонардо сперва нахмурился, как будто был удивлен, даже разгневан словами ученика, но потом рассмеялся и ответил:

– Не искушай меня. Отыди, сатана! Я ожидал другого ответа, и думаю, что слова Чезаре достойны были большего, чем легкомысленная шутка. По крайней мере, во мне возбудили они много мучительных мыслей.

* * *

Сегодня вечером я видел, как, стоя под дождем в тесном, грязном и вонючем переулке, внимательно рассматривал он каменную, по-видимому, ничем не любопытную стену с пятнами сырости. Это продолжалось долго. Мальчишки указывали на него пальцами и смеялись. Я спросил, что он нашел в этой стене.

– Посмотри, Джованни, какое великолепное чудовище-химера с разинутой пастью; а вот рядом – ангел с нежным лицом и развевающимися локонами, который убегает от чудовища. Прихоть случая создала здесь образы, достойные великого мастера. Он обвел пальцем очертания пятен, к изумлению моему, я увидел в них и в самом деле, то, о чем он говорил.

– Может быть, многие сочтут это изображение нелепым, – продолжал учитель, – но я, по собственному опыту, знаю, как оно полезно для возбуждения ума к открытиям и замыслам. Нередко на стенах, в смещении разных камней, в трещинах, в узорах плесени на стоячей воде, в потухающих углях, подернутых пеплом, в очертаниях облаков случалось мне находить подобие прекраснейших местностей с горами, скалами, реками, долинами и деревьями, также чудесные битвы, странные лица, полные неизъяснимой прелести, любопытных дьяволов, чудовищ и многие другие удивительные образы. Я выбирал из них то, что нужно, и доканчивал. Так, вслушиваясь в дальний звон колоколов, ты можешь в их смешанном гуле найти по желанию всякое имя и слово, о котором думаешь.

* * *

Сравнивает морщины, образуемые мускулами лица, во время плача и смеха. В глазах, во рту, в щеках нет никакого различия. Только брови плачущий подымает вверх и соединяет, лоб собирается в складки, и углы рта опускаются; между тем, как смеющийся широко раздвигает брови и подымает углы рта. В заключение сказал:

– Старайся быть спокойным зрителем того, как люди смеются и плачут, ненавидят и любят, бледнеют от ужаса и кричат от боли; смотри, учись, исследуй, наблюдай, чтобы познать выражение всех человеческих чувств. Чезаре сказывал мне, что мастер любит провожать осужденных на смертную казнь, наблюдая в их лицах все степени муки и ужаса, возбуждая в самих палачах удивление своим любопытством, следя за последними содроганиями мускулов, когда несчастные умирают.

– Ты и представить себе не можешь, Джованни, что это за человек – прибавил Чезаре с горькой усмешкой. – Червяка подымет с дороги и посадит на листок, чтобы не раздавить ногой, – а когда найдет на него такой стих, – кажется, если бы родная мать плакала, он только наблюдал бы, как сдвигаются брови, морщится кожа на лбу и опускаются углы рта.

* * *

Учитель сказал: «учись у глухонемых выразительным движениям».

«Когда ты наблюдаешь людей, старайся, чтобы они не замечали, что ты смотришь на них: тогда их движения, их смех и плач естественнее».

«Разнообразие человеческих движений так же беспредельно, как разнообразие человеческих чувств. Высшая цель художника заключается в том, чтобы выразить в лице и в движениях тела страсть души».

«Помни, – в лицах, тобою изображенных, должна быть такая сила чувства, чтобы зрителю казалось, что картина твоя может заставить мертвых смеяться и плакать».

Когда художник изображает что-нибудь страшное, скорбное или смешное, – чувство, испытываемое зрителем, должно побуждать его к таким телодвижениям, чтобы казалось, будто бы он сам принимает участие в изображенных действиях; если же это не достигнуто, – знай, художник, что все твои усилия тщетны».

* * *

«Мастер, у которого руки узловатые, костлявые, охотно изображает людей с такими же узловатыми, костлявыми руками, и это повторяется для каждой части тела, ибо всякому человеку нравятся лица и тела, сходные с его собственным лицом и телом. Вот почему, если художник некрасив, он выбирает для своих изображений лица тоже некрасивые, и наоборот. Берегись, чтобы женщины и мужчины, тобой изображаемые, не казались сестрами и братьями-близнецами, ни по красоте, ни по уродству – недостаток, свойственный многим итальянским художникам. Ибо в живописи нет более опасной и предательской ошибки, как подражание собственному телу. Я думаю, что это происходит оттого, что душа есть художница своего тела: некогда создала она и вылепила его, по образу и подобию своему; и теперь, когда опять ей нужно, при помощи кисти и красок, создать новое тело, всего охотнее повторяет образ, в который уже раз воплотилась».

* * *

«Заботиться о том. Чтобы произведение твое не отталкивало зрителя, как человека, только что вставшего с постели, холодный зимний воздух, а привлекало бы и пленяло душу его, подобно тому, как спящего из постели выманивает приятная свежесть летнего утра».

* * *

Вот история живописи, рассказанная учителем в немногих словах:

«После римлян, когда живописцы стали подражать друг другу, искусство пришло в упадок, длившийся много веков. Но явился Джотто флорентинец, который, не довольствуясь подражанием учителю своему, Чимабуэ, рожденный в горах и пустынях, обитаемых лишь козами и другими подобными животными, и будучи побуждаем к искусству природой, начал рисовать на камнях движения коз, которых пас, и всех животных, которые обитали в стране его, и, наконец, посредством долгой науки, превзошел не только всех учителей своего времени, но и прошлых веков. После Джотто искусство живописи снова пришло в упадок, потому что каждый стал подражать готовым образцам. Это продолжалось целые столетия, пока Томмазо флорентинец, по прозвищу Мазаччо, не доказал своими совершенными созданиями, до какой степени даром тратят силы те, кто берет за образец что бы то ни было, кроме самой природы-учительницы всех учителей».

* * *

«Первым произведением живописи была черта, обведенная вокруг тени человека, брошенной солнцем на стену».

* * *

Говоря о том, как следует художнику сочинять замыслы картин, учитель рассказал нам для примера задуманное им изображение потопа.

– «Пучины и водовороты, озаренные молниями. Ветви громадных дубов, с людьми, прицепившимися к ним, уносимые смерчем: Воды, усеянные обломками домашней утвари, на которых спасаются Люди. Стада четвероногих, окруженные водою, на высоких плоскогорьях, одни кладут ноги на спины другим, давят и топчут друг друга. В толпе людей, защищающих, с оружием в руках, последний клочок земли от хищных зверей, одни ломают руки, грызут их, так что кровь течет, другие затыкают уши, чтобы не слышать грохота громов, или же, не довольствуясь тем, что закрыли глаза, кладут еще руку на руку, прижимая их к векам, чтобы не видеть грозящей смерти. Иные убивают себя, душаясь, закалываясь мечами, бросаясь в пучину с утесов, и матери, проклиная Бога, хватают детей, чтобы размоzzить им голову о камни. Разложившиеся трупы всплывают на поверхность, сталкиваясь и ударяя друг друга, как мячики, надутые воздухом, отскакивают. Птицы садятся на них или, в изнеможении падая, опускаются на живых людей и зверей, не находя другого места для отдыха».

От Салаино и Марко узнал я, что Леонардо в течение многих лет расспрашивал путешественников и всех, кто когда-либо видел смерчи, наводнения, ураганы, обвалы, землетрясения, – узнавая точные подробности и терпеливо, как ученый, собирая черту за чертой, наблюдение за наблюдением, чтобы составить замысел картины, которой, быть может, никогда не исполнить. Помню, слушая рассказ о потопе, я испытывал то же, что бывало при виде дьявольских рож и чудовищ в рисунках его, – ужас, который притягивает.

И вот еще что меня удивило: рассказывая страшный замысел, художник казался спокойным и безучастным.

Говоря о блесках молний, отражаемых водою, заметил: «их должно быть больше на дальних, меньше – на ближних к зрителю волнах, как того требует закон отражения света на гладких поверхностях».

Говоря о мертвых телах, которые сталкиваются в водоворотах, прибавил: «изображая эти удары и столкновения, не забывай закона механики, по которому угол падения равен углу отражения».

Я невольно улыбнулся и подумал: «вот он весь – в этом напоминании!»

Учитель сказал:

– Не опыт, отец всех искусств и наук, обманывает людей, а воображение, которое обещает им то, чего опыт дать не может. Невинен опыт, но наши суетные и безумные желания преступны. Отличая ложь от истины, опыт учит стремиться к возможному и не надеяться, по незнанию, на то, чего достигнуть нельзя, чтобы не пришлось, обманувшись в надежде, предаться отчаянию.

Когда мы остались наедине, Чезаре напомнил мне эти слова и сказал, брезгливо поморщившись: – Опять ложь и притворство!

– В чем же теперь-то солгал он, Чезаре? – спросил я с удивлением. – Мне кажется, что учитель...

– Не стремиться к невозможному, не желать недостижимого! – продолжал он, не слушая меня. – Чего доброго, кто-нибудь поверит ему на слово. Только, нет, не на таких дураков напал: не ему бы слушать! Я его насквозь вижу... – Что же ты видишь, Чезаре?

– А то, что сам он всю жизнь только и стремился к невозможному, только и желал недостижимого. Ну, скажи на милость: изобретать такие машины, чтобы люди как птицы летали по воздуху, как рыбы под водой плавали, – разве это не значит стремиться к невозможному? А ужас потопа, а небывалые чудовища в пятнах сырости, в облаках, небывалая прелесть боже-

ственных лиц, подобных ангельским видениям, – откуда он все это берет, – ужели из опыта, из математической таблички носов и ложечки для измерения красок?.. Зачем же обманывает себя и других, зачем лжет? Механика нужна ему для чуда, – чтобы на крыльях взлететь к небесам, чтобы, владея силами естественными, устремить их к тому, что сверх и против естества человеческого, сверх и против закона природы – все равно к Богу или к дьяволу, только бы к неиспытанному, к невозможному! Ибо верить-то он, пожалуй, не верит, но любопытствует, – чем меньше верит, тем больше любопытствует: это в нем, как похоть неугасимая, как уголь раскаленный, которого нельзя ничем залить – никаким знанием, никаким опытом!..

Слова Чезаре наполнили душу мою смятением и страхом. Все эти последние дни думаю о них, хочу и не могу забыть.

Сегодня, как будто отвечая на мои сомнения, учитель сказал:

– Малое знание дает людям гордыню, великое – дает смирение: так пустые колосья поднимают к небу надменные головы, а полные зерном склоняют их долу, к земле, своей матери.

– Как же, учитель, – возразил Чезаре со своей обыкновенной язвительно-испытующей усмешкой, – как же говорят, будто бы великое знание, которым обладал светлейший из херувимов, Люцифер, внушило ему не смирение, а гордыню, за которую он и был низвергнут в преисподнюю?

Леонардо ничего не ответил, но, немного помолчав, рассказал нам басню:

«Однажды капля водяная задумала подняться к небу. При помощи огня взлетела она тонким паром. Но, достигнув высоты, встретила разреженный, холодный воздух, сжалась, отяжелела – и гордость ее превратилась в ужас. Капля упала дождем. Сухая земля выпила ее. И долго вода, заключенная в подземной темнице, должна была каяться в грехе своем».

Кажется, чем больше с ним живешь, тем меньше знаешь его.

Сегодня опять забавлялся, как мальчик. И что за шутки! Сидел я вечером у себя наверху, читал перед сном любимую свою книгу – «Цветочки св. Франциска». Вдруг по всему дому раздался вопль нашей стряпухи Матурины: – Пожар! Пожар! Помогите! Горим!.. Я бросился вниз и перетрусил, увидев густой дым, наполнявший мастерскую. Озаряемый отблеском синего пламени, подобного молнии, учитель стоял в облаках дыма, как некий древний маг, и с веселой улыбкой смотрел на Матурину, бледную от ужаса, махавшую руками, и на Марко, который прибежал с двумя ведрами воды и вылил бы их на стол, не щадя ни рисунков, ни рукописей, если бы учитель не остановил его, крикнув, что все это шутка. Тогда мы увидели, что дым и пламя поднимаются от белого порошка с ладаном и колофонием на раскаленной медной сковородке, – состава, изобретенного им для устройства увеселительных пожаров. Не знаю, кто был в большем восторге от шалости – неизменный товарищ всех его игр, маленький плут Джакко, или сам Леонардо. Как он смеялся над страхом Матурины и над спасительными ведрами Марко! Видит Бог, кто так смеется, не может быть злым человеком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.